



ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

ВАРЛАМ
ШАЛАМОВ

✦ Колымские рассказы ✦

Собрание шести циклов

В ОДНОМ ТОМЕ



2022
МОСКВА

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Ш18

Оформление серии *Н. Ярусовой*

В оформлении переплета использованы фрагменты работ
художника *Феликса Нусбаума*

Иллюстрация в марке серии:
© Ilusletra CR/ Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Шаламов, Варлам Тихонович.
Ш18 Колымские рассказы : собрание шести циклов в одном томе /
Варлам Шаламов. — Москва : Эксмо, 2022. — 928 с.

ISBN 978-5-04-171836-7

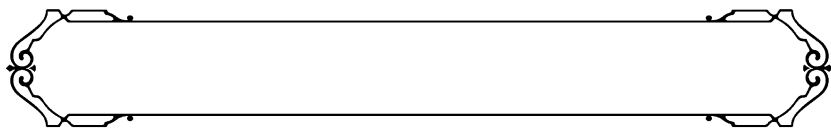
Об эту книгу можно порезаться. Если она ранит вас, эти раны долго не заживут. В какой-то момент чтения вы перестанете задаваться вопросом: «неужели это правда?» — и опуститесь на ледяное дно колымского ада.

Автор так и не вернулся из сталинских лагерей, до конца «свободной» жизни храня в себе весь опыт и всю боль. Но вы вернетесь. Став умнее, сильнее, человечнее.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-171836-7

© Ригосик А.А., 2022
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2022



ПРАВДА ШАЛАМОВА — НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Эта книга — памятник мужественной и многострадальной жизни Варлама Тихоновича Шаламова.

В его жизни едва наберется 30 лет, прожитых в «нормальных условиях».

10 лет детства («1918 год был годом краха нашей семьи») и 20 лет после реабилитации по второму делу. С 1956 до 1977 года — обострение его болезни. (Если считать нормальным, что его прозу не печатали в СССР). Но сам он в рассказе писал: «Я никогда не был вольным, я всегда был свободным во все взрослые годы моей жизни» («Необращенный»).

Он жил глубокой внутренней жизнью, где сожителем и соавтором его был целый мир.

И на листе — на ветровом стекле
Летящей в бесконечное природы,
Моя земля скрывается во мгле,
Доступная познанию небосвода.

(1970)

Внятен ему был голос цветка и камня, прошлого и будущего, человеческого сердца и далекой звезды, быть может окончившей свой век гигантским алмазом.

При таком необъятно глубоком восприятии мира и 30 лет вмещают не только память о трагедии государственного насилия, о войнах, лагерях и бесправии, о человеческой жизни и смерти, но и о бесстрашии, о славе и делах людей, подобных Фриггофу Нансену или Эрнесто Че Геваре.

Его внутренний, свободный от всех ограничений — политических, литературных, клановых, житейских — мир (исключительно редкий случай!) и отразился на страницах его гениальной прозы, его стихов.

Пять циклов «Кольмской эпопеи»: «Кольмские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты», «Воскрешение лиственниц», «Перчатка, или КР-2» и «Очерки преступного мира» включены в настоящий сборник.

Содержание прозы, адресованное автором прямо сердцу и разуму читателя, не нуждается в посредниках. Оно нуждается в исследователях, тончайшем интеллектуальном препарировании в поисках потаенных смыслов, связей, символов, метафор, ритмов, подтекста и контекста.

То, что читатель почувствует, исследователь извлечет вполне сознательно в меру своих возможностей. Шаламову же важнее было сердечное сочувствие читателя. Он подарил И. П. Сиротинской книгу Антуана де Сент-Экзюпери, подчеркнув его слова «Зряче только сердце».

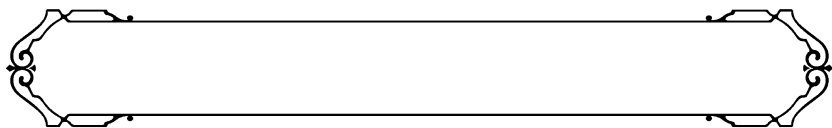
Для тех, кто интересуется жизнью и творчеством В. Т. Шаламова, почитателей его таланта, для исследователей, работающих с материалами Фонда В. Т. Шаламова в РГАЛИ, не подлежит сомнению огромная роль И. П. Сиротинской, наследницы В. Т. Шаламова, в сохранении, пополнении, обработке, исследовании, публикации творческого наследия В. Т. Шаламова, его судьбе. В. Т. Шаламов посвятил И. П. Сиротинской три из шести сборников «Колымской эпопеи»: — «Левый берег», «Воскрешение лиственницы» и «Перчатка, или КР-2». Широкому кругу читателей будет интересно ознакомиться с некоторыми главами из воспоминаний И. П. Сиротинской, помещенных в начале книги.

Век, прошедший с рождения В. Т. Шаламова, увы, только подтвердил его пессимистический прогноз о жестокости несправедливых войн, не встречающих сопротивления, о криминализации общества, о кризисе гуманизма.

Только бесстрашно и бескомпромиссно сказанная правда, облеченная в страстное художественное слово, оставляет надежду на спасение человечества.

По первому делу («За участие в антисталинской оппозиции» 1929 г.) В. Т. Шаламов был реабилитирован только в 2000 году на 15-м году перестройки и гласности.

И. Сиротинская, А. Ригосик



ВОСПОМИНАНИЯ

КАКИМ ОН БЫЛ

Первое впечатление от Варлама Тихоновича — большой. И чисто физический облик: высокий, широкоплечий, и ощущение ясное незаурядной, крупной личности с первых же слов, с первого взгляда.

Мне пришлось многие годы знать его. Это первое впечатление не изменилось, но усложнилось... Нельзя, да и не надо приводить эту сложную, противоречивую личность к одному знаменателю. В нем сосуществовали, противоборствовали, всегда находясь на «точке кипения», разные ипостаси его личности.

Поэт, чувствующий подспудные силы, движущие миром, тайные связи явлений и вещей, душой прикасающийся к нитям судеб.

Умница с удивительной памятью. Все ему интересно — литература, живопись, театр, физика, биология, история, математика. Книгочел. Исследователь.

Честолюбец — цепкий, стремящийся укрепиться в жизни, вырваться к славе, бессмертию. Эгоцентрик.

Жалкий, злой калека, непоправимо раздавленная душа. «Главный итог жизни: жизнь — это не благо. Кожа моя обновилась вся — душа не обновилась...»

Маленький незащитный мальчик, жаждущий тепла, забот, сердечного участия. «Я хотел бы, чтобы ты была моей матерью».

Беспредельно самоотверженный, беспредельно преданный рыцарь. Настоящий мужчина.

Теперь ношу ее цвета
В раскраске шарфа и цита...

2 МАРТА 1966 ГОДА

Разбирая его архив, я нашла в конвертике бережно хранимый им листочек настольного календаря за это число с его пометкой «11—30». Именно в этот день и час я впервые пришла к нему. Пришла по служебному делу как сотрудник отдела комплектования Центрального государственного архива литературы и искусства. Устроила эту встречу моя подруга — Наталья Юрьевна Зеленина, мать которой, поэт и ученый Вера Николаевна Клюева, дружила с Варламом Тихоновичем. Наташа меня предупредила:

— Смотри, он очень резок, чуть что не по нему, с лестницы спустит.

Я решила рискнуть, тем более и жил Варлам Тихонович тогда на первом этаже. К этому времени я прочитала те его рассказы, что ходили в самиздате. «Тифозный карантин» вызвал просто боль, пронзительную боль в сердце. Казалось, что-то нужно сделать сейчас же, неотложно. Иначе жить, иначе думать. Подломились какие-то основы, опоры души, привыкшей верить в справедливость, конечную справедливость мира: что добро восторжествует, а зло будет наказано.

Я шла к нему как к новому пророку, чтобы спросить: как жить. Но повод был приличен и официален — я собиралась предложить ему передать на вечное хранение свои рукописи в ЦГЛИ.

Дверь передо мной распахнул настезь высокий ярко-голубоглазый человек с глубокими морщинами на обветренном лице. Викинг! (В книжноте В. Т. меня упрекал, но «викингом» ему быть нравилось, даже в стихи это вошло.)

Викинг галантно помог мне снять пальто, провел в узкую комнатушку (метров 7—8) и предложил изрядно облезлый стул. Я, не мешкая, изложила свою официальную миссию. Пока я говорила, он смотрел на меня чуть прищурившись, пронзительно, прямо-таки пронзающе. Но меня это почему-то не смущало, хотя я всегда легко смущалась и краснела до ушей. Но скоро его лицо утратило напряжение, стало мягким и доброжелательным. Он ответил согласием на мое предложение относительно рукописей. И я, без всяких предисловий, приступила к главному. Как жить? Этот вопрос его не удивил. Может быть, я была не первой, кто его задавал. Он ответил, что, как сказано в десяти заповедях, так и жить. Ничего нового нет и не надо. Я была чуть-чуть разочарована. И все? И тогда он добавил одиннадцатую заповедь — не учи. Не учи жить другого. У каждого — своя правда. И твоя правда может быть для него непригодна именно потому, что она твоя, а не его.

Уходя, я спросила, можно ли его навещать иногда.

Он кафедрально, внушительно, словно ставя мне оценку, сказал: «Приходите. Вы мне понравилась». Я ответила: «Вы мне — тоже». И увидела, как суровый викинг вдруг смутился, как мальчишка, и стал неловко подавать мне пальто.

Действительно, он меня не разочаровал — он был точно такой, каким должен был быть Автор «Колымских рассказов».

А свою одиннадцатую заповедь ему самому случалось часто нарушать. Его убеждения всегда были окрашены страстью в яркие, контрастные тона. Полутона — не его стихия. И он не просто говорил, думал вслух — он учил, проповедовал, пророчествовал. Был в нем Аввакумов дух непримиримости, нетерпимости.

Мне, например, матери троих малых детей и дочери любимых и любящих родителей, он не уставал проповедовать фалангу Фурье, где стариков и детей опекает всецело государство.

«Ни у одного поколения нет долга перед другим! — яростно размахивая руками, утверждал он. — Родился ребенок — в детский дом его!»

Это не мешало ему с неуклюжей почтительностью принимать у себя моих малышей (я часто ходила в гости с ними), хранить их рисунки, даже писать стихи о них. «Мой знакомый Пикассо...» — это стихи о рисунках моего сына Алеша.

«ЗАКЛЮЧЕННЫХ ГОНЮТ!»

Во время войны мы эвакуировались из Москвы в Иркутск вместе с авиационным заводом, где работал мой отец. Поселились мы на Болотном участке — так называлась застройка из двухэтажных бараков, действительно, на болоте, так что вместо тротуаров были настланы деревянные доски. Мимо пролегал тракт — булыжная дорога с глубокими кюветами. Однажды мы играли у дома, и дети закричали: «Заключенных гонют!» И я вместе со всеми подбежала к тракту. Из кювета мы смотрели на медленно приближавшиеся серые колонны. Помню шорох от шарканья многих ног. И мое потрясение оттого, что это были обыкновенные уставшие люди. Не знаю, чего я ждала.

Я рассказала Варламу Тихоновичу об этом детском воспоминании, и он был взволнован до крайности: именно «гонют», именно серые. И рассказал, что Иркутлаг был одним из крупнейших лагерей.

Потом мы, москвичи, часто встречали длинные колонны заключенных, и уже не удивлялись, не бежали навстречу, это было обыкновенно.

Ту первую встречу я помнила всегда. Значит — знала. Но это мне не мешало верить в справедливость и доброту мироздания к человеку. Верить даже не на интеллектуальном, а на каком-то биологическом уровне. Может быть, оттого, что во мне, как и в Варламе Тихоновиче, гены древнего священнического рода. И хотя я, как и он, неверующая, но на каком-то генетическом уровне во мне закрепилась вера в добрые высшие силы. Варлам Тихонович писал мне: «Мы очень с тобой похожи». В этом мы действительно были похожи.

Есть и еще один исток «похожести» — мы оба выросли на книгах, на литературе XIX века. Об этом мне В. Т. сказал в одну из первых же встреч.

Если тщательно проанализировать стихи и прозу Варлама Тихоновича, то обнаружится в нем даже не вера — структура души, сознающей свое единство с вечной и высшей силой. В «Вишерском антиромане» он писал: «Идеальная цифра — единица. Помощь «единице» оказывает Бог, идея, вера... Достаточно ли нравственных сил у меня, чтобы пройти свою дорогу как некоей единице — вот о чем я раздумывал в 95 камере мужского одиночного корпуса Бутырской тюрьмы...» Это было в 1929 году.

Он и прошел свой путь «единицей» — в первой, главной ипостаси своей личности.

КОШКА

Кроме моей подружки еще одно существо оказало мне протекцию при знакомстве с Варламом Тихоновичем. Я сначала не оценила всей важности этой рекомендации, и когда большой кот настойчиво стал тереться об мои ноги, я небрежно погладила его ногой. Тогда он вспрыгнул мне на колени и стал бодать мои руки, и я его согнала без всяких церемоний, чтоб не мешал. И удивилась, когда Варлам Тихонович растроганно сказал: «Не подходит к чужим». Он рассказал мне о другой кошке, о кошке Мухе, которая погибла в 1965 году. «Ближе ее не было у меня существа никогда. Ближе жены...» Муха гуляла с ним вечерами, как собака. Сидела на письменном столе, когда он писал. Существо, которое не мешало, но любило. Когда кошка пропала, Варлам Тихонович искал ее всюду, даже там, куда свозят пойманных животных. Он рассказывал об этом, дрожа всем телом. «Я вошел, меня всего трясло, там в клетках на стеллажах сидят кошки — и молчат. Все молчат. Они все поняли и готовы умереть. Я звал ее, но ее там не было». Рабочие, что-то ремонтировавшие во дворе, сказали Варламу Тихоновичу, что закопали утром убитую кошку. По просьбе В. Т. они ее выкопали. В. Т. ее вымыл, высушил на батарее, простился с ней и похоронил.

Мне было жаль его бесконечно и жаль Мухи. В моем детстве остался мой любимый, тоже погибший друг — дворняжка Дек. До сих пор он мне снится. Его карие, сияющие любовью глаза. И я, просыпаясь, думаю, что не может такая великая любовь пропасть из мира бесследно.

Варлам Тихонович понял серьезность моего сочувствия. «Людам далеко до кошек, — сказал он, — но вы — можете быть кошковой». Вот такой комплимент я получила, и только потом поняла, что это был очень большой комплимент.

ДОЛГИЕ-ДОЛГИЕ ГОДЫ БЕСЕД

Я стала часто бывать у Варлама Тихоновича. К моему приходу он заготавливал узенькие полоски бумаги, где записывал, что надо мне сказать. Некоторые и сейчас сохранились в его бумагах. И я попадала буквально под ливень рассказов. Рассказчиком он был прекрасным, так что перед моими глазами прямо оживали куски его прошлого. «Я почему-то все прямо вижу», — сказала я однажды. «Оттого, что я вижу это сам». Я и сейчас слышу, как понижается его голос, замедляется речь, когда рассказ достигает кульминации, прищуриваются и сверкают глаза, а поза становится напряженной. И вот уже почти нараспев: «Но-о он не взял коробку...» (Он рассказывает мне о Г. Г. Демидове, эпизод, описанный в рассказе «Житие инженера Кишреева») Пауза. И дальше — как выстрел — «Американские обноски я носить не буду». Пауза.

Почти все его рассказы, особенно написанные в 1966-м и позднее, я слышала от него, а потом читала. Он шутил, а порой и почти серьезно называл меня соавтором, даже написал это в посвящении сборника «Воскрешение лиственниц». Истинно здесь только то, что мое восхищение его

прозой, моя готовность слушать стимулировали как-то его творческий поток. Не раз говорил он мне, как дорога ему возможность «высказаться» до дна. Были у нас и споры. Я упрекала его в порою затянутой, на мой взгляд, экспозиции, в излишнем философствовании. Это должно уйти в подтекст, говорила я, в эссе.

Мне казалось, что это от неутоленной жажды высказаться. Оттого, что в рассказ шло все — и то, что должно идти в эссе, в мемуары, в письма. Слова вылетали под напором невысказанных мыслей, чувств. «Все мои рассказы прокричаны...» — писал он мне в 1971 году. Так это и было.

В момент рождения именно высокий эмоциональный накал не давал возможности контролировать поток. А потом он редко возвращался к записанному рассказу.

Наверное, я была неправа — ценность его прозы — в ее первозданности, в первозданности чувства, мысли, слова, в запечатлении самого момента проявления души.

Между ним и читателем нет даже едва ощутимой преграды, отстраненности, нарочитости литературного стиля, читатель прямо вступает в поток непосредственного общения с его душой. Тут литературность, в самом деле, могла только помешать. А уж он ли не знал, не обдумал до тонкостей литературных приемов!

А я ему говорила, что надо немного редактировать себя — кое-что отделить, поправить после того, как рассказ записан. Он очень огорчился, и в ответ мне написал как-то целое эссе, отставив «свободное проявление души писателя» как творческий метод.

«Каждый мой рассказ — пощечина сталинизму и, как всякая пощечина, имеет законы чисто мускульного характера... В рассказе отделанность не всегда отвечает намерению автора — наиболее удачные рассказы написаны набело, вернее, переписаны с черновика один раз. Так писались все лучшие мои рассказы. В них нет отделки, а законченность есть...

Все, что раньше, — все как бы толпится в мозгу, и достаточно открыть какой-то рычаг в мозгу — взять перо — и рассказ написан.

Рассказы мои представляют успешную и сознательную борьбу с тем, что называется жанром рассказа... Пощечина должна быть короткой, звонкой... Каждый мой рассказ — это абсолютная достоверность. Это достоверность документа... Для художника, для автора самое главное — это возможность высказаться — дать свободный мозг тому потоку. Сам автор — свидетель, любым своим словом, любым своим поворотом души он дает окончательную формулу, приговор. И автор волен не то что подтвердить или отвергнуть каким-то чувством или литературным суждением, но высказаться самому по-своему. Если рассказ доведен до конца, такое суждение появляется» (1971).

Уже после смерти Варлама Тихоновича я горько упрекала себя, что не записывала наши беседы. Но потом, прочитав его записи, все написанное им, я поняла — он-то записал почти все.

Я думала тогда, думаю и сейчас, что Шаламов шел новым для русской прозы путем.

В русской прозе современной сильнее других, пожалуй, классическая толстовская традиция. Солженицын — весь в этой традиции. Безусловно, очень почтенная и почитаемая традиция. И критики к ней приспособились — типы, психологизм, сюжетные линии, их пересечения, голос автора...

С этой меркой к прозе Шаламова подойти нельзя. Как нельзя в строе психики золотого XIX века осмыслить Хиросиму, Освенцим и Колыму.

Я всегда говорила Варламу Тихоновичу, что он нашел адекватную жизненному материалу художественную форму, что это — его большой вклад в русскую литературу. Предельная сжатость рассказа, словно заключающая в себе пружину, которая остро распрямляется в сознании, в сердце читателя. Одна фраза из «Одиночного замера»: «Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшней день» — войдет в память на всю жизнь.

Он показал жизнь и психику запредельную, за рубежом добра и зла, и только так ее можно было показать — без нагнетания чувствительности, без психологических изысков, лишние слова здесь кажутся кощунством. Сурово, лаконично, точно. Лаконизм этот — спрессованный до предела гнев и боль автора. Эффект воздействия его прозы — в контрасте сурового спокойствия рассказчика, кажущегося спокойствия повествования и взрывного, сжигающего содержания.

Тогда немного было людей, которые ему это говорили. И даже моя малая поддержка была ему важна. Он писал мне в 1966 году: «Ты даешь мне сознание моего маленького места в жизни...» Маленького — это уже от гордости.

Я ценила его прозу больше, чем его стихи, и это его очень обижало. А мне тяжело было слышать в 70-е годы, когда он говорил изредка: «Да что рассказы — нет в них ничего особенного». Его творческий поток в эти годы как-то переместился в стихи, а стихи все реже, как мне казалось, сохраняли крепость настоящей поэзии. Он пытался писать и стихи «на случай». Это не получалось, т. е. получалось плохо. Я, конечно, ничего не говорила ему, но он это чувствовал. Проза все иссякала, иссякала. После 1973 года он писал прозы совсем мало.

ВОЛОГДА

В 1968 году, летом, я побывала в Вологде. Побывала в доме у Софийского собора, где прошло детство Варлама Тихоновича, побродила по Шаламовской горке. А ему привезла фотографии и (сознаюсь в этом варварстве) кусочек собора, который отколушнула от цоколя. В это лето Варлам Тихонович мне написал:

8 июля 1968 г.

«...Я думал, город давно забыт, встречи со старыми знакомыми (имеется в виду художник В. Н. Сигорский и его жена, уроженцы Вологды)... ника-

ких эмоций, ни подспудных, ни открытых у меня не вызывали — после смерти матери все было кончено, крест поставлен на городе... А вот теперь, после твоей поездки — какие-то теплые течения где-то глубоко внутри... Удивительно здорово, что ты видела дом, где я жил первые пятнадцать лет своей жизни, и даже заходила в парадное (так оно раньше называлось) крыльцо с лестницей на второй этаж, с разбитым стеклом. Просто сказка. Белозерский камень мне потому менее дорог, чем камень от собора, что на Белоозере я никогда не был, а у Собора прожил пятнадцать лет. Деревьев там не было (с фасада дома). Никогда. Было гладкое поле, дорога. Куст боярышника под окнами. А дерево — тополь — был на дворе сзади дома...»

Так началась поток воспоминаний — «Четвертая Вологда». Не буду ее пересказывать, она известна читателям. В те годы В. Т. почти непрерывно рассказывал о своем детстве, но кое-что в повесть не вошло.

«Я не любил своего отца», — говорил Варлам Тихонович. Вряд ли это отношение было однозначным. Скорее — тут неизбежное столкновение двух одинаково твердых и страстных характеров. И не таким уж страшным деспотом был отец — он не заставил ни одного из сыновей избрать духовную карьеру, хотя и хотел этого, не препятствовал свободному времяпровождению сыновей и дочерей, не навязывал знакомых. Да и кухонные занятия матери — обычная и неизбежная вещь в небогатой семье.

Летом 1989 г. я вновь побывала в Вологде, поработала в Вологодских архивах, чтобы немного разобраться в родословной В. Т. Смущало меня зырянское, по словам В. Т., происхождение отца («шаман», «полузырянин»). Выяснила я, что Тихон Николаевич — сын и внук священника, а корень этого разветвленного рода идет из Великого Устюга, в «усть-сысольскую глушь» попал лишь отец Тихона Николаевича — Николай Иванович, а дед Иоанн Максимович Шаламов происходил из городского священства, хотя и служил к концу жизни в приходской церкви Устюжского уезда. Семья Тихона Николаевича была отнюдь не бедна: он получал ежегодно пенсию за службу в Северо-Американской епархии 1350 р., оклад соборного священника 600 р., кружечный доход около 250 руб. По дореволюционным ценам это был небогатый, но приличный доход.

Кухонные занятия матери — это, конечно, уже послереволюционная пора.

Варлам Тихонович без слез не мог вспоминать о матери и сестре Наташе. Но кто из женщин не тащит этот воз — семейное хозяйство. И мать на кухне, и Наташа над корытом — это еще не трагедия. Но деньгами в семье распоряжалась мать, охотничьи трофеи делала мать... Не так уж задавлена была мать отцовской волей, если смогла потом удержать рухнувшие своды вселенной над своей семьей.

Скончался Тихон Николаевич 3 марта 1933 года, а мать — Надежда Александровна 26 декабря 1934 года, оба — в возрасте 65 лет.

Своей семье многим обязан Шаламов — неспигаемой нравственной твердостью и силой духа, которую можно принести только из детства, когда создается, рождается личность. И цепетильная честность, и гордое стремление к независимости.

Как презирал он интеллигентские московские побои на бедность опальным. «Три рубля за вход — и уже твой благодетель». Вспомнишь его слепого отца, ходившего сражаться за бога, и мать, в одиночку боровщущуюся с нищетой.

И о брате Сергее. Есть у Варлама Тихоновича четверостишие:

Зови, зови глухую тьму —
И тьма придет.
Завидуй брату своему,
И брат умрет.

Старший брат, Сергей, признанный лидер вологодских мальчишек. Лучший охотник, самый отважный пловец, строитель «Шаламовской горки». Мальчишечье благоговение было в интонациях Варлама Тихоновича, когда он рассказывал о брате, о его неограниченной власти над мальчишками. И этот эпизод, когда какой-то парень на ледяной горке сказал ему, малышу:

— Подвинься-ка, пацан.

А его провожатый (и В. Т. принимал крайне забавный вид холодного достоинства, а губы его подергивались от предвкушения веселого торжества) сказал медленно и веско:

— Это не пацан. Это брат Сереежки Шаламова.

Была какая-то детская зависть к брату, всеобщему любимцу. «Я хотел быть в детстве калекой, больным». — «Зачем?» — удивилась я. — «Чтобы меня любили».

Может быть, было какое-то предчувствие у родителей. Смерть ходила за Сергеем по пятам. И погиб он в 22 года.

Редко относился к мужчинам Варлам Тихонович с сердечной теплотой. С уважением — да. Но не с теплотой. Но Сергей... Я видела эту живую детскую любовь, восхищение, которые связывали В. Т. с давно погибшим братом.

ПЕВЕЦ

— То, что я больше всего хотел в детстве — не сбылось, — сказал Варлам Тихонович, — я хотел быть певцом.

Слуха у него не было. И музыку он не любил, не понимал, а вот певцом быть хотел. И такая свежая горечь была в его словах, что я перестала смеяться. Да, он воображал сцену, декорации, овации... Это был живой и громкий успех — то, чего не было в его жизни. Не посмертная слава («на что она мне?»), не где-то существующие читатели и почитатели, а здесь, сейчас — партер, ярусы, обвал оваций.

Он сочинял в юности экзотические песни. «У тебя холодные колени...» («Ориноко»), синеглазые марши, даже исполнял мне их неожиданно высоким и неверным голосом, но — с увлечением. Это было очень смешно и немножко грустно.

БИМИНИ

Вообще мы часто играли: рисовали друг друга, писали шуточные стихи, чертили подробные планы страны Бимини с бухтами, причалами, дворцами и яхтами. И я рассказывала о необыкновенных нравах этой страны: когда там расстаются, например, то без слов — только пошлют друг другу цветок. «Два корабля и три дельфина» — это с карты страны Бимини. В его стихах осталась она, «как тайнопись, которой маги заворожили свой секрет...»

Но в мире преувеличения,
В обличьи сказок и легенд,
Она сама была леченьем...

*(«Она ко мне приходит
в гости», 1973 г.)*

В самом деле, это было целительно. Десять лет я опекала Варлама Тихоновича, и он в эти годы не болел. Узнала я недавно, что мать Тереза говорит — возьми за руку человека. А ведь чисто интуитивно так поступала я. Приду — он зол, издерган, взвинчен. Я просто молча беру его за руку. И он затихает, затихает. И словно проступает другое лицо, другие глаза — мягкие, глубокие, добрые.

Сейчас я думаю: после того ада, который он прошел, как много душевных сил в нем оставалось, что хватало их на мои игры — чудеса и паруса, дельфинов и викингов.

«С ТЮТЧЕВЫМ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

Многие стихи рождались на моих глазах. Расскажу еще об одном стихотворении.

Грозы с тяжелым градом,
Градом тяжелых слез.
Лучше, когда ты рядом,
Лучше, когда — всерьез.

Нынче прошу прощенья
В послегрозовый свет.
Все твои запрещенья
Я не нарушу, нет.

С Тютчевым в день рожденья,
С Тютчевым и с тобой,
С тенью своею, тенью
Нынче вступаю в бой.

Дикое ослепленье
Солнечной правоты
Мненье или сомненье
Все это тоже ты.

(1968 г.)

Событийная основа стихотворения, как всегда, реальна: в 1968 году мы праздновали день его рождения, как всегда, — по старому стилю, 18 июня: глубокие тарелки с конфетами и яблоками, свежие огурцы, курица — из кулинарии, моя фотография у Вологодского кремля — на столе. И гадание по Тютчеву. Бывало — по Блоку. Но почему-то никогда — по Пастернаку. В июле я уезжала в отпуск с детьми, и ему строго-настроено наказала не жариться на солнце в Серебряном Бору: был год активного солнца, а он любил плавать и загорать в Серебряном Бору.

Вот об этих моих запрещениях он и написал. Было тогда светлое, счастливое время его жизни, тени Колымы отступили на время. Это лето 1968 года, июнь 1968 года он назвал лучшим месяцем своей жизни. Из письма:

Москва. 12 июля 1968 г.

«...Июнь шестьдесят восьмого года — лучший месяц моей жизни... Если бы я был футурологом, чьи обязанности совсем недавно выполняли кудесники... я желал бы себе будущего в вечном только что прошедшем июне. Я предсказал бы себе этот июнь, пожелал бы себе только этого июня...»

Солнечная правота — это правота света, правота счастья.

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ЕГО ЖИЗНИ

Немного я могу перечислить имен, которые он всегда, всегда упоминал с глубоким уважением. Александр Георгиевич Андреев — первое из этих имен, политкаторжанин, эсер, с которым он встретился в 1937 году в Бутырской тюрьме. И героя «Колымских рассказов» в его честь он называет Андреевым. Свет славы и подвига народовольцев был на этом имени, свет великой жертвы — всей жизни за идею, за свободу, за свое дело.

Георгий Георгиевич Демидов, физик, с которым Шаламов познакомился в Центральной больнице для заключенных на Колыме. Недавно меня разыскала дочь Демидова, Валентина Георгиевна, и дала мне прочитать рассказы отца. Конечно, это человек, Шаламову близкий по духу, — твердый, смелый, талантливый, неукротимый.

Это качество — нравственную твердость, верность себе — Варлам Тихонович ценил превыше всего.

Андрей Максимович Пантюхов — врач, заключенный, который спас Варлама Тихоновича, направив его на курсы фельдшеров в 1946 году. Доброта. Действенная доброта — вторая главная добродетель по шкале ценности Варлама Тихоновича.

Конечно, были просто люди близкие, с которыми Варлам Тихонович годами поддерживал отношения, ценил их дружбу, часто о них мне рассказывал. Многие из них также побывали в заключении. С некоторыми я познакомилась.

Моисей Наумович Авербах, часто помогавший Варламу Тихоновичу в житейских делах, Леонид Филиппович Волков-Ланнит, знакомый с В. Т. еще по 20-м годам, литератор, Галина Александровна Воронская (Галочка Воронская, как всегда называл ее Варлам Тихонович, дочь А. К. Воронско-

го), ее муж Иван Степанович Исаев (он провожал Варлама Тихоновича в дом инвалидов), Аркадий Захарович Добровольский, сценарист, знакомый В. Т. по Колыме, умерший, как и он, в доме инвалидов, Борис Николаевич Лесняк и его жена Нина Владимировна Савоева, врач, на Колыме много сделавшие для спасения В. Т., Валентин Валентинович Португалов, поэт, также «колымчанин», Столярова Наталья Ивановна, дочь Натальи Сергеевны Климовой, народоволки, героини рассказа Шаламова «Золотая медаль», Гродзенский Яков Давыдович, Шрейдер Юлий Анатольевич и некоторые другие. Очень тепло говорил всегда Шаламов о сестре своей первой жены — Марии Игнатьевне Гудзь.

Особого рассказа требуют отношения Варлама Тихоновича с Б. Л. Пастернаком и Н. Я. Мандельштам.

Ю. О. ДОМБРОВСКИЙ

Варлам Тихонович еще в 1966 году дал мне «Хранителя древностей» и сказал: «Лучшая книга о тридцать седьмом годе». Я прочитала и удивилась какой-то колдовской завораживающей силе этой книги. Все еще вроде обыкновенно — слова, события, но вдруг становится страшно. Что-то страшное, холодное, мерзкое, как удав, вползает в жизнь.

Я захотела увидеть этого человека. И познакомилась с ним вскоре, пришла к нему в гости на Б. Сухаревский, где Ю. О. тогда жил. И застала кипу черновиков «Факультета ненужных вещей», приготовленных к выносу на помойку. Конечно, я пришла в ужас, тут же забрала их в ЦГАЛИ. Юрий Осипович с готовностью обшарил свое очень скромное жилище в поисках других рукописей и писем и передал мне кроме рукописей «Факультета» роман «Обезьяна приходит за своим черепом», «Театральные рассказы», повесть «Королевский рескрипт», письма и фотографии. Не нашел он писем Б. Пастернака и М. Шагинян, очень интересных, по его словам, хотя перетряхнул все книги («куда-то засунул, а может быть, унесли»).

Говорили мы с Юрием Осиповичем тогда долго. Он рассказывал захватывающие детективные истории, где фигурировали отпечатки пальцев покойника, блатари и следователи. Но самое замечательное и для меня интересное он сказал о Шаламове: «Тацитовская лапидарность и мощь».

Впоследствии Федот Федотович Сучков передал мне слова Юрия Осиповича: «В лагерной прозе Шаламов первый, я — второй, Солженицын — третий». Конечно, литература — не спорт, у каждого свое, не сравнимое с другим, место в ней. Но слово мастера о мастере — большая ценность по гамбургскому счету.

ТЕАТР НА ТАГАНКЕ

Мы познакомились с Варламом Тихоновичем как раз тогда, когда я переживала увлечение театром Любимова. Прошло много лет, но и сейчас я не помню более яркого театрального впечатления своего, чем спектакль «Добрый человек из Сезуана».

Плохой конец заранее отброшен,
Он должен,
должен,
должен быть хорошим!

Звнящий голос Славиной.

Варлам Тихонович скептически отнесся к моему увлечению. На его фотографии, подаренной мне тогда, в 1966 году, надпись: «Ирине Павловне с искренней симпатией и советом забыть театр на Таганке».

— Это все было, — говорил он мне, — Мейерхольд. Только забыто сейчас.

Но, подчиняясь моему желанию, он стал ходить в этот театр. И с каждым разом — все охотнее. «Павшие и живые», «Пугачев». После «Жизни Галилея» с Высоцким он сказал: «Давай напишем пьесу для этого театра». От соавторства я, конечно, отказалась, а к пьесам его интерес возобновился. Он стал делать наброски к пьесе «Вечерние беседы». Сюжет ее незатейлив: в тюремной камере встречаются все русские писатели, нобелевские лауреаты: Бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицын. Их гоняют на пилку дров, они выносят парашу. А вечерами они беседуют...

Варлам Тихонович увлекся театром. Ходили мы и на «Дни нашей жизни» в Театр Пушкина, и на «Интервенцию» в Театр сатиры. Это были пьесы, запомнившиеся Варламу Тихоновичу еще в молодости. Но сейчас спектакли его разочаровали, наверное, тогда он их воспринимал ярче, непосредственнее, в долгие бестеатральные годы он сам их обогатил и украсил в воспоминаниях.

Не любил он МХАТ, все это жизнеподобие на сцене — сверчки, чаепития и т. п. Театр есть театр. Театром он должен быть. И четвертой стены у него нет. О Мейерхольде, Вахтангове, Таирове говорил всегда с увлечением. Величайшей актрисой считал Алису Коонен.

Жаль, что он не дождался ни постановки своей пьесы «Анна Иванова» на сцене, ни экранизации своей прозы. У него было, как мне кажется, сценическое чутье.

«КАК НА ВЫСТАВКЕ МАТИССА»

Так начиналось стихотворение «Кто-то сердце крепко...» (1969 г.). «Волны Стикса» появились в нем по настоянию редактора, которому показалось неэпичным испытывать сердечную недостаточность на выставке выдающегося французского художника.

Тогда мы вместе были на открытии выставки, было много народу. Духота, и Варламу Тихоновичу стало плохо: вижу, он бледен, и пот выступил на лбу. Но упорно и твердо говорит: «Все хорошо. Хорошо». С трудом его увела в другой зал, усадила, и он отдышался, пришел в себя. А потом написал стихотворение об этом.

Мы часто бывали на выставках — Матисс, Роден, Петров-Водкин, Пироманишвили, Фальк, Пикассо, Ван Гог, Врубель... Просто ходили в Третьяковку, в Пушкинский музей.

Он не любил живописи передвижников. Считал ее дурной литературщиной. У живописи свой язык — краски. Вот ими и должна выражать себя душа художника.

Помню, на выставке Петрова-Водкина мы спорили перед его «На линии огня», где люди с перекопшенными лицами устремились вперед — убивать себе подобных, а убитый, приложив руку к сердцу, словно не падает, а отрешенно взлетает, и лицо у него — единственно человеческое среди всех.

У этой картины я сказала Варламу Тихоновичу, что и сюжет в картине важен, и он выражает мысль и душу художника. Варлам Тихонович яростно стал возражать мне, что, будь на этой картине только зеленая и красная краски — без сюжета, она волновала бы так же.

Также спорили мы и на выставке Родена у скульптурного портрета Бальзака. Варлам Тихонович утверждал, что портретное сходство с оригиналом совсем не нужно. Важно передать душу, ощущение художника от натуры. Я же говорила, что лицо и передает нашу душу. Что через тысячи лет нас волнуют черты реальных людей в фаянсовых портретах больше, чем вневременной лик сфинкса. Сейчас, вспоминая лицо Варлама Тихоновича, я радуюсь, что некоторое сходство имеет и скульптурный портрет Ф. Сучкова, и живописный Б. Биргера, и кажется, что именно этим сходством уловлена и какая-то частица души.

Самым любимым художником Варлама Тихоновича был, пожалуй, Ван Гог, а любимым полотном — «Прогулка заключенных». Думаю, что тут действовали не только краски, но и сюжет. И то и другое — и «что», и «как».

ЛИТЕРАТУРА

Варлам Тихонович с резким неприятием относился к толстовской традиции в русской литературе. Он считал, что Толстой увел русскую прозу с пути Пушкина, Гоголя.

В русской прозе превыше всех считал он Гоголя и Достоевского.

В поэзии ближе всего была ему линия философской лирики Баратынского — Тютчева — Пастернака. В его любви к Пастернаку было что-то умственное, если можно так сказать. Варлам Тихонович часто читал что-нибудь из «Сестры моей жизни» и говорил: «Какой взгляд! Я уж не знаю, как это можно, целые новые пласты втащил он в поэзию».

Это было профессиональным восхищением поэта. Но как-то глубоко душевно он любил Блока. Когда он читал Блока, то никогда не говорил о поэтических находках, а словно ощущал что-то свое, душевное свое в Блоке.

Иногда мне казалось — какие-то воспоминания молодости, эхо какое-то себя, еще доколымского. Я об этом не выспрашивала — это столь тонкие ощущения, что их не надо высказывать вслух, переводить в слова. Только видела, как молодело, освещалось его лицо.

...И тотчас же в ответ
что-то грянули струны...

И. СИРОТИНСКАЯ

ИЛИ:

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего...

Тютчев все чаще лежал на его столе в 70-е годы.

О как на склоне наших дней
Нежней мы любим и суеверней...

И:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые,
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир...

Были любимые стихи и других поэтов, которые он часто читал: «Черный человек» Есенина, «Роландов Рог» Цветаевой, Ходасевича:

Играю в карты, пью вино,
С людьми живу и лба не хмурю,
Ведь знаю — сердце все равно
Летит в излюбленную бурю...
Лети, кораблик мой, лети,
Кренясь и не ища спасенья,
Его и нет на том пути,
Куда уносит вдохновенье...

Я любила Гумилева. Это В. Т. раздражало. Вся эта Африка, экзотика — это дурной вкус. Хотя «Заблудившийся трамвай» он читал. Я же любила и «Эзбекские», и «Капитанов», и все «Жемчуга». Конечно, весь «Огненный столп». И часто читала Гумилева.

Белокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель...

И однажды он переписал в Ленинке весь цикл «К синей звезде» и принес мне. Это был лучший подарок. Эта тетрадь и сейчас у меня. Я и сейчас люблю Гумилева.

Память, ты рукою великанши
Жизнь ведешь, как под узцы коня...

Гумилев гораздо многомернее и глубже расхожего представления о нем. Никто так это не понимал, как Ахматова, которая в своих записных книжках написала: «Гумилев — поэт, еще не прочитанный, и человек, еще не осознанный».

Мы даже «говорили» друг с другом стихами. Мы оба не любили объясняться.

Где-то в первые годы он показал мне Мандельштама:

Твоим узким плечам под бичами краснеть,
Под бичами краснеть, на морозе гореть.
Твоим детским рукам утоги поднимать,
Утоги поднимать да веревки вязать... —

и отвернулся почти со слезами. Это — его всегдашнее острое сочувствие женской доле. Я, правда, не ощущала ее как страдание и считала нормой и счастьем отдать себя детям, любимым. Тогда — это свойство отдавать, расточать себя казалось мне неисчерпаемым. Потом я убедилась, что физические и, главное, моральные, душевные силы имеют предел.

Настало время, и где-то в семидесятом году я показала ему тоже «со значением» Блока:

Суров ты был, друзей ты не искал
И не искал единоверцев,
Ты острый нож безжалостно вонзал
В открытое для счастья сердце...

А году в семьдесят пятом он сунул мне вдруг среди разговора томик Цветаевой и ткнул в строки:

Ты меня не любишь больше,
Истина в пяти словах.

Я прочитала, и мы продолжали говорить о каких-то пустяках.

ПАБЛИСИТИ

Сколько громов и молний отсверкало в «Четвертой Вологде» по поводу пресловутого «паблисити», свойственного отцу Варлама Тихоновича! Какой панегирик тряпкам!

Все так. И все не так.

Очень были забавны и трогательны неожиданные проявления этого «паблисити» в самом Варламе Тихоновиче.

«Мой плащ, — серьезно и внушительно говорит он мне, — самый модный». Слово «модный» он произносит с каким-то щегольским прононсом. После паузы, строго:

— Черный плащ.

Речь шла о черной болонье, тогда, действительно, массовой одежде. Этот разговор возникал не раз, явно В. Т. гордился столь модной вещью.

Однажды я пришла к нему году в 70-м, наверное, а он, как-то особенно празднично сияя, меня встречает в... ярко полосатых брюках, было тогда такое увлечение у мальчишек, но даже мои сыновья его избегли. В. Т. наставительно, несколько тщеславно, говорит мне:

— Я покупаю всегда самое модное. Самое модное.

Но видит, что на меня его модная покупка не производит впечатления. Он сразу снижает: «Тебе не нравится?» Я бормочу, что, мол, ничего — мне жаль его огорчать. Но брюки все-таки были забыты.

Однажды с волнением Варлам Тихонович рассказал:

— Прихожу в парикмахерскую, говорю, как меня подстричь. А парикмахер отвечает: смотрите, это будет стоить два рубля. Я не понимаю, по моему, у меня вполне обеспеченный вид. Вполне обеспеченный.

Я его успокоила: конечно, вполне обеспеченный.

Одевался он всегда так: клетчатая рубашка, чепский или польский грубошерстный пиджак в крупную темную клетку или типа букле. Темные брюки, купленные отдельно. Отечественные ботинки. Летом — голубые рубашки навыпуск с короткими рукавами. Зимой — плащовка на меховой подкладке (это тогда стоило дешево), кроличья ушанка.

Помню, с каким удовольствием он вил гнездо, когда переехал в свою просторную комнату на второй этаж дома № 10 по Хорошевскому шоссе с первого этажа, где жил в крохотной комнатке квартиры Ольги Сергеевны Неклюдовой, своей второй жены. Как обсуждал со мной и покупал скатерть на стол, шторы на окна, мебель — в комиссионке, раскладывал просторнее книги... А когда назначили на слом дом № 10, такими же заботами сопровождалось в 1972 году вселение в очень ему нравившуюся светлую просторную комнату в доме № 6 по Васильевской улице.

Обстановка ее была такова: квадратная комната, окно и балконная дверь, напротив — дверь в коридор, направо и налево от входа по стене — открытые книжные полки, просто крашенные доски, слева стояли полки с «Библиотекой поэта», вообще с поэзией. Далее по левой стене — высокие застекленные полки с архивом, поставленные друг на друга, шкаф для одежды, обеденный стол — почти вплоты к балконной двери и шкафчик для посуды, продуктов — над ним. Перед окном — однотумбовый письменный стол. Далее по правой стене, в неглубокой нише — деревянная кровать, далее — опять открытые книжные полки. Свой угол, свой дом Варлам Тихонович очень любил. Крохотная территория независимости. А независимость — это главное в жизни, так он всегда говорил.

За это ценил и деньги — за независимость, которую они дают. «Если слава придет ко мне без денег, я выгоню ее за дверь». Но правда и другое:

И дружество и вражество,
Пока стихи со мной,
И нищенство и княжество
Ценой ценой одной.

КРАСНАЯ ШАПОЧКА

Где-то году в 1968-м я пришла к Варламу Тихоновичу, и он сразу, с порога — как открытие, как вывод — очень серьезно и взволнованно, сказал: «Ты — Красная шапочка. В моей жизни были волки, были охотники, а ты — Красная шапочка».

Он очень серьезно относился к мифам, к сказкам, считая, что в них запечатлены какие-то вечные модели отношений между людьми. И эта «Красная шапочка» звучала как найденная формула наших отношений.

Но я всегда торопилась — дети, работа, дом, я только мельком спросила небрежно: «Почему Красная шапочка?» Не вникнув, а кто же он в моей сказке. Бабушка? А кто волк? А кто охотник? Не раз он называл меня Красной шапочкой. Может быть, за легкомыслие, с которым я пускалась в жизнь — лес, не думая о волках?

Что-то в этой сказке мне близко, хотя красной шапочки я никогда не носила.

Да будет мне всегда легка
Неосторожная рука,
Звенящая в звонок стиха...

Неосторожная рука... Теперь припоминаю, что Варлам Тихонович часто пенял мне на мою неосторожность. «Я удивляюсь, ты такая ловкая, быстрая — и такая неосторожная». То я влезала дома на две табуретки и с грохотом рушилась, то обдирала коленки, сбегая опретью с эскалатора. Все торопилась. То резала палец, открывая банку. И так же легко, неосторожно расправлялась и с серьезными проблемами. Однажды я пришла, а Варлам Тихонович с гордостью торжественно показал мне порезанный палец (он открывал банку): «Как у тебя. Я подумал, что ты бы сделала так же».

«НИКОГДА НЕ ВОСКРЕСНЕТ ШОССЕ...»

Варлам Тихонович не любил перемен в своей жизни. Труден ему был и переезд на Васильевскую с Хорошевского шоссе. Там был кусок жизни — с 1956 года, там, во дворе, похоронена Муха.

И сейчас, когда я еду мимо места, где был дом № 10, я вспоминаю Муху, которая осталась здесь.

Небольшие, на четыре квартиры дома. Варлам Тихонович говорил, что ему кажется — это просто выгородка на берегу шумной реки — шоссе. Мимо окон всегда с гулом мчались грузовики, но это не мешало Варламу Тихоновичу.

На новом месте он, правда, быстро прижился. Вспоминаю, как мы весело убрали комнату после ремонта, как двигали мебель способом, которому научил меня В. Т. — садиться на пол и, упираясь ногами, двигать мебель спиной. Вселение в новую комнату сопровождалось и инцидентом: оказалось, что Фрунзенский исполком вселил В. Т. на площадь другого района. Ордер не регистрировали в исполкоме. В. Т. не прописывали недели две, я ходила по инстанциям. В. Т. был просто в истерике — он потеряет прописку в Москве, его выселят. В конце концов я пошла в исполком и сказала, что не уйду отсюда, пока дело не решится — я не могу сказать В. Т., что прописка еще откладывается. И бесславно расплакалась, просто убитая всеми проволочками. Дело решилось тут же. Ордер приняли.

Но бедняга — каким он чувствовал себя бесправным! Это ощущение бесправия вошло в кровь его. Сделать с человеком могут все: взять и выпрыгнуть из Москвы. И тщетно я уверяла его, что дело только во взаимных амбициях исполкомов — он не верил в это.

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК

Вновь и вновь возвращаясь к Варламу Тихоновичу, вспоминая его слова, его поступки, даже интонации, душевные проявления какие-то, я все чаще думаю, что ощущение мира у него было человека религиозного. Отсюда была и его жажда увидеть, узнать пророка, «живого Будду», как он говорил.

Таким живым Буддой долго был для него Пастернак. Будда в поэзии и в человеческих своих качествах. И все стремление В. Т. возвести на пьедестал, страстно обожествить живого человека не без слабостей, а обнаружив слабости, столь же яростно свергнуть — тоже было стремлением души, воспитанной в вере.

Переписка его с Борисом Леонидовичем стала предметом нашего обсуждения с В. Т. буквально со второй встречи в 1966 году. Пришлось мне под диктовку В. Т. записывать его воспоминания о Борисе Леонидовиче.

«Пастернак — величайшая поэтическая вершина XX века».

Но к этому времени, к 1966 году, Будда-человек был уже повержен с пьедестала. В одном из писем (к Г. Г. Демидову) В. Т. написал высокомерные слова: «Я хотел сделать из него пророка, но это мне не удалось».

С нотой пренебрежения говорил В. Т. о «покаянных письмах» Пастернака. Б. Л. не проявил душевной твердости, по словам В. Т. Если он пошел на публикацию романа на Западе, — надо было идти до конца. Либо ехать на Запад, либо дать оплеуху западному журналисту вместо интервью. Либо это, либо то. Не колебаться, бегать, советоваться, суетиться, то благодарить за премию, то от нее отказываться. «Плащ героя, пророка и Бога был Пастернаку не по плечу».

Бедный, он не думал, что и ему суждено испытать судьбу свергнутого живого Будды, пусть не столь шумную.

Но об этом, о трагедии 1972 года, о его письме в «Литературную газету», я расскажу отдельно.

Правы ли мы, возлагая на других людей долг быть нашими безгрешными идолами, опорой нашей душе, нашей нравственности, нашей вере? И не в себе ли самих мы должны искать и находить опору, веру, а если надо, и надежду?

«ПЧ»

Человек, сложившийся в 20-е годы, Варлам Тихонович часто употреблял аббревиатуры. В его записях 70-х годов, сделанных для себя, разговорах с самим собой мелькает часто упоминание о «ПЧ». «ПЧ» — «прогрессивное человечество». Варлам Тихонович, конечно, не имел в виду истинно прогрессивных общественных деятелей, но ту шумную публику, которая бурно примыкает к каждому общественному, в том числе и прогрессивному

начинанию. У «ПЧ» — мало серьезного дела, много амбиции, сенсации, шума, слухов. Оно легковесно — дунь ветерок, и нет пышной и шумной деятельности этих прогрессивных деятелей.

«Я им нужен мертвецом, — говорил Варлам Тихонович, — вот тогда они развернутся. Они затолкают меня в яму и будут писать петиции в ООН».

Только годы спустя я убедилась, как прав был Варлам Тихонович, как проницателен. Тогда к этим словам я относилась чуть скептически. Мне казалось, он преувеличивает, ступает краски, когда говорит, что «ПЧ» состоит наполовину из дураков, наполовину — из стукачей, но — дураков нынче мало».

Он был прав. И стукачи его сопровождали буквально до смертного одра, до края могилы — меня позже просветил в этом отношении такой проницательный старый лагерник, как Федот Федотович Сучков.

1972 год

Книжку «Московские облака» никак не сдавали в печать. Варлам Тихонович бегал и советовался в «Юность» — к Б. Полевому и Н. Злотникову, в «Литгазету» к Н. Мармерштейну, в «Советский писатель» — к В. Фогельсонову. Приходил издерганный, злой и отчаявшийся. «Я в списках. Надо писать письмо». Я сказала: «Не надо. Это — потерять лицо. Не надо. Я чувствую всей душой — не надо».

— Ты Красная шапочка, ты этот мир волков не знаешь. Я спасаю свою книжку. Эти сволочи там, на Западе, пускают по рассказику в передачу. Я никаким «Посевам» и «Голосам» своих рассказов не давал.

Он был почти в истерике, метался по комнате. Досталось и «ПЧ»:

— Пусть сами прыгают в эту яму, а потом пишут петиции. Да, да! Прыгай сам, а не заставляй прыгать других.

Я ушла. А через два-три дня В. Т. позвонил и попросил прийти. Я пришла и увидела на столе листы с черновиками письма В. Т. в «Литературную газету». Стала читать, вычеркивая совсем немислимые пассажи: «меня пытаются представить резидентом...» Опять сказала: «Не надо посылать это письмо». Но не стала решительно настаивать, ведь такие вещи должен каждый решать сам. Просто повернулась и ушла.

А 23 февраля в «ЛГ» был опубликован краткий вариант этого письма. Для меня это было крушением героя. Я (вообще-то совсем не плакса) ревели целую неделю. Насколько умнее меня был мой сын Алеша, совсем тогда еще мальчик двенадцати лет. Он сказал:

— Мама, как ты можешь судить его, оставлять. Этого я от тебя не ожидал.

Вскоре позвонил В. Т., и я пошла к нему. Он встретил меня, буквально заливаясь слезами, говорил, что он не такой, каким я его себе представляла, что только в яму и должен был свалиться... В общем, тяжелая и грустная была встреча.

Я с трудом преодолела, а в полной мере уже никогда не преодолела какое-то отчуждение в себе. Не мне, конечно, было его судить. Да и кто в своем рассудке мог его судить? Говорят сейчас об «остракизме», которому

он был подвергнут. Это, конечно, сплетни, сплетни «ПЧ». Какой остракизм?! Недавно дочь Г. Г. Демидова рассказала мне, в какой ярости был ее отец, когда кто-то при нем осмелелся осуждать Варлама Тихоновича за это письмо: «Не вам, соплякам, судить этого человека!» Б. Полевой прислал ему ободряющее письмо. Н. Столярова и Ф. Сучков пришли его ободрить, но он не пустил их в дом.

Все эти ободрения были пустяками для него. Самое страшное — собственное о себе мнение.

Реабилитация в собственных глазах проходила быстрыми темпами. Уже недели через две он говорил мне: «Для такого поступка мужества надо поболее, чем для интервью западному журналисту».

— Ну, — ответила я жестоко, — не надо увлекаться. Этак и стукачей можно наделить мужеством.

И сейчас вспоминаю, как он смешался и замолк. Как сошла с его лица мимика убежденной кафедральности. Я почти никогда не бывала с ним резка. Три раза припоминаю лишь, когда я жестоко обошлась с ним. И жалею об этом.

А книжка «Московские облака» была сдана в набор 17 апреля 1972 года. Три давления совместились в этом печальном инциденте с письмом: не печатали здесь, грозила полная немота; печатали там — жалкими куточками, без согласия автора, «спекулируя на чужой крови»; немалую роль сыграло и раздражение против «ПЧ», против этой истеричной и глупой публики, толкавшей его на Голгофу.

Но, написав, что «колымская тематика исчерпана жизнью», он продолжал писать «Колымские рассказы-2». И впереди был 1973 год, который он называл одним из лучших, счастливейших в жизни. В этот год было написано особенно много стихов, несколько толстых тетрадей: «Гонор» («Орудие добра и зла...»), «Стихи — это боль и защита от боли...», «Она ко мне приходит в гости...», «Мой лучший год...» и, наконец, «Славянская клятва». Клятва верности себе, делу своей жизни.

СЕРЕБРЯННЫЙ БОР

Летом Варлам Тихонович любил ездить в Серебряный Бор. Там он купался и загорал. Плавал он хорошо, загорал совершенно неосторожно, дочерна. Изредка мы ездили купаться вместе. Он всегда бывал на том пляже, что на другой стороне Москвы-реки. Как он явно блаженствовал на берегу реки, как ушивался своей ловкостью в воде, как остро наблюдал все происходящее вокруг. Рассказ «Жую» — о Серебряном Боре. Вот так, с пристальным вниманием к каждому человеку, к каждой травинке, букашке он всматривался в окружающее.

Однажды по дороге на пляж нас обогнали баскетболисты. Они шли, возвышаясь над всеми, отрешенные от пляжной суеты, и о чем-то непонятном спортивном говорили. В. Т. сказал: «Инопланетяне».

Он любил реки, их вечное движение, их разговор. Он не любил холодное серое Охотское море. Не очень понравилось ему море и в Сухуми, где он бывал у своей сестры, Галины Тихоновны Сорохтиной, в 1957 году.

В 1973 году он вступил в Союз писателей СССР и смог получать литфондовские путевки в Коктебель и Ялту, которыми вплоть до осени 1978 года неукоснительно пользовался. Комфортабельная писательская жизнь произвела на него сильное и приятное впечатление. Воображаю, как неуместно выглядел он на закрытом для прочих пляже. В 1974 году, отправляясь в Коктебель, он написал мне литературное письмо: «Я еду в Коктебель не для того, чтобы тревожить тени Волошина и Грина...» Это мне не понравилось. Какая-то чужая нота.

Крым я любила нежно. Мы с детьми в 60-е годы не один раз объехали его от Феодосии до мыса Сарыч. И почти вся моя переписка с В. Т. в 60-е годы — из Крыма и в Крым. Эти старые тропы, заросшие плоскими кактусами, развалины башен, застывшие камнепады, пустынные (тогда) берега. Я просыпалась утром рано, чтобы золотая дорожка от встающего солнца протянулась к моим ногам.

В. Т. не полюбил Крыма, не почувствовал его неизреченной древней прелести. Он не любил природу. Было какое-то глазное, рассудочное общение с ней. Любить — это, мне кажется, ощущать себя частью ее, растворяться, чувствуя свою связь с небом и землей. Он был внимателен к дереву и камню, наблюдателен, использовал природу, ее явления в своих стихах для передачи каких-то оттенков человеческих чувств, но потребности душевного общения с природой у него не было.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

В. Т. спросил меня однажды: «Ты думаешь — в лагере я ругался?» Я ответила: «Нет, наверное».

— Одним из самых отчаянных ругателей я был. И дрался. Тут в трамвае мне на ногу наступили, я такое выдал, парень в столбняк впал...

Плюха — была его универсальным, хоть и теоретическим средством решения всех проблем.

— Этой сволочи (ПЧ) плюху прямо на пороге дать — только так от нее избавишься...

— Встретил Молотова в Ленинской библиотеке. И — не дал ему плюху! Встретил — и не дал!

Даже буквально в последние дни он пытался, размахивая руками, отогнать от себя «наседку» в доме инвалидов: «Уходи, ты мне надоела!»

Плюха — моментальное решение проблемы, а это было в характере В. Т., не терпящем неясностей и проволочек.

— Все ищут во мне тайну. А во мне нет тайны, во мне все просто и ясно. Никаких тайн.

Тайн он не терпел, хотя, конечно, умел молчать, когда надо. Но всякие кивки, намеки, таинственные недомолвки безмерно его раздражали.

— Я привык с жизнью встречаться прямо. Не отличая большого от малого.

Был у него очень добрый друг и поклонник таланта — Яков Гродзенский. Жил он в Рязани. И была у него страсть объясняться с подтекстом. Дескать, я понимаю, сказать можно не все, но я понимаю. В. Т. жутко раздражался, хотя «Яшк» любил.

Однажды я пришла и застала В. Т. в глубокой молчаливой грусти (а молчалив В. Т. не был, всегда бурлила в нем жажда высказаться). «Яшка умер», — сказал В. Т. Было это, кажется, году в 1970-м.

ЧТО ОН ДУМАЛ О СЕБЕ

Его мнения о себе были столь же противоположны, сколько противоположностей заключал его характер.

Как-то я отозвалась хорошо о Юрии Осиповиче Домбровском. Он обидчиво и очень запальчиво сказал: «Я лучше всех людей!» Потом подумал и поправился: «Лучше меня только ты».

Что главное ценил в себе: верность, нравственную твердость («не предал никого в лагере, не донес, на чужой крови не ловчил»). Талант. «Я тот сапожник, рожденный, чтобы стать Наполеоном, как у Марка Твена. Я собирался стать Шекспиром. Лагерь все сломал».

Но иногда он впадал в уныние и говорил иное: что он неблагодарный, капризный, и я думаю о нем гораздо лучше, чем он заслуживает. Что он растоптанный человек, собравший себя из кусков, что он непоправимо искалечен лагерем.

Готовя его рукописи к изданию, я вижу, насколько его стиль выражает его личность. Даже подбор любимых эпитетов: твердый, лучший, энергичный, любой, высший... Стремление к абсолюту, к невозможной непреложности, к высшей точке...

Таков и ты, поэт.

Страсть и рассудочность, стихия, поток — и самоограничение непрерывное. Серьезность до последней мелочи. Полное отсутствие чувства юмора. Суеверный. Косноязычие шамана присуще порой его стихам — что-то с трудом пробивается в мысль, в слово, что-то, едва переводимое в слова.

Часто повторял слова — «его судьба не удалась, как и всякая человеческая судьба». Его судьба, несмотря на ее трагизм, оставляет ощущение какой-то пронзительной завершенности. Сбылось именно то, что должно было сбыться при столкновении этого сильного, твердого, несгибаемого человека и государства, и жизни такой, какая она была.

1976 ГОД

Жизнь сама подталкивала меня к какому-то решению. Я видела ясно, что и Варламу Тихоновичу нужна, наконец, определенность. Я понимала, что ему нужен друг, который целиком посвятит свою жизнь ему, и надеялась, что после моего ухода такой друг появится.

Последних жалких слов мы, верные себе, не произносили. Отмечали 10-летие нашего знакомства. И было мне очень больно, но как-то неотвратимо я чувствовала, что все кончено. И сказала: «Ну вот, все кончается так». Он сказал: «Это были десять лет жизни и счастья. Ты подарила мне десять лет жизни».

Потом, в письме из конвертика — «Экстренно, после моей смерти» — я прочитала: «Спасибо тебе за эти годы, лучшие годы моей жизни».

Это не значит, конечно, что мы не встречались больше. Я навещала его иногда, были письма, звонки. И свою книгу «Точка кипения» он прислал мне в октябре 1977 года с надписью «Моему верному товарищу и другу с глубоким волнением». Приходя изредка, я встречала у него женщину, которая за определенное вознаграждение (которое ему казалось большим, а ей недостаточным) иногда убирала и готовила для него. Но к 1979 году ему уже нужна была не просто приходящая время от времени помощница, а постоянная сиделка.

1979 год

В апреле 1979 года он срочно вызвал меня, сказал, что собирается в пансионат, и попросил взять весь архив, который оставался. «Воруют», — сказал он. Я взяла все. Он спросил: «Как твои дети?» Я промолчала. А он сказал: «Ты думаешь, мне это неинтересно». И заплакал. «Я думал, ты ко мне приходила. Показалось — звонят, я выскочил — никого. Я — к окну, и увидел женщину с двумя детьми. Мне показалось, что это ты зашла по дороге в зоопарк». Я говорю: «Мои дети уже выросли и не ходят в зоопарк. Они уже выше меня». Но он не поверил, для него я так и осталась молодой матерью, и малыши прижимались ко мне с двух сторон, держали меня за руки.

Я обратилась 17 мая 1979 года к тем, кто изъял часть архива В. Т., и они после переговоров 8 октября 1979 года вернули рукописи четырех сборников «Колымских рассказов» (все это было документировано). Лишь много позднее, когда я закончила разборку и описание большого архива В. Т., я поняла, что возвращено не все. Но В. Т. уже не было в живых. Похищены были и мои письма к В. Т., к счастью, только письма 70-х годов.

Конечно, похищена незначительная по сравнению с основным фондом часть архива, в основном машинописные экземпляры рукописей. Однако, возможно, что исчезли и варианты с какими-то разночтениями, которые необходимо изучать в процессе текстологической работы. Пропали также и некоторые толстые тетради со стихами, где заключались первоначальные варианты стихов. Запись стихотворения в такую тетрадь Варлам Тихонович считал истинной датой стихотворения. Утрату этих тетрадей Варлам Тихонович считал невосполнимой. И я, конечно, виновата в том, что не обнаружила ее сразу же, не разобрала архив сразу.

Конечно, следовало бы этим людям все вернуть в архив, в фонд Варлама Тихоновича, но теперь, в отличие от 1979 года, они утверждают, что рукописи были подарены...

Премия Свободы

Он диктовал мне стихи, прорвавшись к нему сквозь неустойчивую, глухую темноту мира, сквозь косноязычие и скудеющую память:

Человеческий шорох и шум
Предваряют мое пробужденье,
Разгоняют скопление дум,
Неизбежных в моем положении.

Это, верно, сверчок на печи
Затрепал, зашуршал, как когда-то.
Как всегда, обойдусь без свечи.
Как всегда, обойдусь без домкрата.

Он глух, слеп, тело его с трудом держит равновесие. Язык с трудом повинуется. Даже лежа, он чувствует, что мир вокруг гудит и качается.

Союз с бессмертием непрочен,
Роль нелегка.
Рука дрожит и шаг неточен,
Дрожит рука.

Я входила в этот дом, пропахший беспомощной и беззащитной старостью, под блеклыми взглядами старушек и двух мальчиков в креслах-катаках я поднималась на третий этаж, открывала дверь 244-й палаты. Он лежал, сжавшись в маленький комоч, чуть подрагивая, с открытыми незрячими глазами, с ежиком седых волос — без одеяла, на мокром матрасе. Простыни, пододеяльники он срывал, комкал и прятал под матрас — чтоб не украли. Полотенце завязывал на шее. Лагерные привычки вернулись к нему. На еду кидался жадно — чтоб никто не опередил.

Здесь ему нравилось. «Здесь очень хорошо. — И очень серьезно, весомо: — Здесь хорошо кормят».

Маленькая отдельная комнатка с широким окном, тишина, отдельный санузел («это очень важно»), тепло, еда — вот этот скудный рай последних его стихов.

Не буду я прогуливать собак,
Псу жалко
Носить свое бессмертие в зубах,
Как палку.
В раю я выбрал самый светлый уголок,
Где верба.
Я сердце бросил — он понюхал, уволок,
Мой чербер.
Кусочек сердца — это ведь не кость,
Помягче — и цена ему иная.
Так я вошел, последний райский гость,
Под своды рая.

Но и здесь, в этом жалком раю, где обитает его бедное тело, жива душа поэта, ощущающая большой мир, живо и его неутоленное честолюбие. Он жаждет славы, денег — «золотого дождя»...

1 июня 1981 года я пришла его порадовать — французское отделение Пен-клуба одарило его премией Свободы.

Я подхожу к кровати и беру его за руку, он всегда узнает меня по руке, на ощупь.

Он долго и трудно усаживается на стул у тумбочки.

— День, день какой?

— 1 июня, понедельник! — кричу я в бескровное сухое ухо.

— Час, который час? Але! Час который? Але!

— Пять, пять часов! Премию, премию дали! Премию!

— Премия — деньги! Але! Але! Премия — деньги!

— Во Франции!

Он понимает и теряет к премии интерес.

Я приношу ему том «Колымских рассказов», изданный в Лондоне, — мне дал его для В. Т. Гена Айги. Он медленно ощупывает книгу: «Я понимаю, что издали Там, — говорит он равнодушно, — но ведь должны быть деньги».

Из «золотого дождя» от изданий за рубежом на него не упало и капли, которая облегчила бы его старость. Вот публикация в «Юности» его волнует. Я собрала кое-что из его старых стихов и отдала Натану Злотникову.

— Номер? Номер какой?

Я еще не знаю точно, но кричу наудачу — седьмой. Публикация вышла в восьмом номере. Это была его последняя радость. Он беспокоился, чтобы заказали заранее авторские экземпляры. Это — последний журнал, который он гордо дарил посетителям. А я не взяла, чтоб у него остался еще лишний экземпляр для подарка.

Жизнь его подошла к концу. Страшная жизнь, раздробившая прекрасного, талантливого, страстного человека на кусочки...

Он видел то, чего не видели мы, чего не должны видеть люди, чего не должно быть. И это отравило его навсегда. Тень лагерей наступила его. И кусочки личности, сцементированные волей и мужеством, распались.

И вот — лето 1981 года, последнее лето его жизни, принесшее ему премию Свободы. Он диктует стихотворение, последнее стихотворение обо мне:

Яблоком, как библейский змей,
Я маню мою Еву из рая.
Лишь в судьбе моей — место ей,
Я навек ее выбираю.

Пусть она не забудет меня,
Пусть хранит нашу общую тайну,
В наших днях, словно в срезе пня,
Закодирована не случайно.

Я всегда приносила ему любимое — яблоки, вафли, еще любил он пастилу, зефир. Однажды он спросил меня: «А где пастила?» Я говорю: «Нет ее в магазинах». — «Ну, сходи сейчас, купи». — «Ее нет, не продают». Он понурился. И вижу, думает, что мне не хочется идти. Но яблоки, к счастью, были всегда. Яблоки он ощупывал бережно, серьезно укладывал в тумбочку. Они, я думаю, и дали толчок стихам. Всегда какая-то мелочь, деталь включала этот поток стихотворения. И последние стихи из новых (он часто диктовал и варианты старых):

Я на бреющем полете
Землю облетаю,
Всей тщеты земной заботы
Я теперь не знаю.

Зиму он не любил никогда. Все аресты его были зимой — 19 февраля 1929 года и в ночь с 11 на 12 января 1937 года. Зимой он часто простужался, болел.

Последний раз я увидела его, когда пришла поздравить с Новым годом. Он, как всегда, узнал меня по руке и, усевшись, уютившись на стуле, продиктовал воспоминания о Б. Полевом. Бедная «наседка» металась, не понимая ни того, что он говорил, ни того, что я писала (стенографировала). Потом продиктовал последний вариант стихотворения «Голуби». Это было все.

15 января 1982 года его непрочный бедный рай разрушили — перевели в другой, психоневрологический дом инвалидов. Определенную роль в этом переводе сыграл и тот шум, который подняла вокруг него со второй половины 1981 года группа его «доброжелателей». Были среди них, конечно, и люди действительно добрые, были и хлопотавшие из корысти, из страсти к сенсации. Ведь именно из них у Варлама Тихоновича обнаружили две посмертные «жены», с толпой свидетелей осаждавшие официальные инстанции.

Бедная, беззащитная его старость стала предметом шоу. И я не умела это прекратить. Только могла отстраниться. А дирекции пансионата это шоу было ни к чему. Время тогда было другое, а «доброжелатели» не щадили Варлама Тихоновича, организуя эту сенсацию с фотовспышками, записями голоса, письмами на Запад, обзванием левых деятелей.

17 января 1982 года он умер. Умер на руках чужих людей, и никто не понял его последних слов.

Были похороны — дело суетное. Чужие возбужденные лица — попавших в сенсацию людей. Много спектакля. Я ему все говорила про себя: «Не бойся, я с тобой». У меня было ясное ощущение его присутствия. Покой был на его мертвом лице. Я положила в кармашек его пиджака наш талисман, который он мне подарил давно («чтоб всегда был с тобой») — маленького моржика, вырезанного из моржового клыка.

Прощай, мой друг.

«ГОРЯЩАЯ СУДЬБА»

Нет дня, чтобы я не вспоминала В. Т., не размышляла о его судьбе. В судьбе В. Т. есть какая-то предопределенность. Вспомнишь известное: «Посеешь характер — пожнешь судьбу». В его судьбе противостояли два начала — его характер, убеждения и давление времени, государства, стремившегося уничтожить этого человека. Его талант, его страстная жажда справедливости, бесстрашие, готовность делом доказать слово... Все это было не только не востребовано временем, но и опасно ему.

В. Т. ясно чувствовал этот ветер времени, всегда дувший ему навстречу. Но порой порыв слабел, словно забывая его, и В. Т. не упускал возможности что-то сделать для своего спасения, для своей работы.

Был он суверен, как, наверное, все люди, живущие опасной жизнью — моряки, летчики... Он говорил: «Когда попадаешь в полосу неудач, сиди и не предпринимай ничего, когда же подует попутный ветер — действуй, соглашайся на все предложения». Это — не новое наблюдение. Вспомним Шекспира: «В делах людей приливы и отливы. С приливом достигаем мы успеха...»

Даже дизентерия может быть удачей — шанс попасть в больницу, спастись на месяц-два от золотого забоя, от пятидесятиградусного мороза и побоев блатных.

Вот-вот, кажется, злая судьба настигнет его — 22 июня 1943 г. его судят на Колыме. Показания свидетелей страшны — он, якобы, осмеливался осуждать Верховного главнокомандующего (даже свидетели не решаются назвать его по имени — Сталин), восхвалял Троцкого и т. п. Верный расстрел. Но ему дают статью 58. 10 (антисоветская агитация). Эта статья заслоняет страшный литер КРГД предыдущего срока, и Андрей Пантюхов, врач, заключенный, с которым он подружился, направляет его в 1946 г. на курсы фельдшеров, что и спасает его жизнь на Колыме.

А после Колымы? Болезнь Меньера, глухота, — кажется, жить бы тихо на пенсии, как и настаивала семья. Но он пишет «Колымские рассказы», «Четвертую Вологу», «Вишеру», стихи. «Стихи — это боль и защита от боли...» Стихи — преодоление немоты, исцеляющая душу, сердце и тело сила.

Если сил не растрочу,
Если что-нибудь значу,
Это сила и воля — твоя.

(«Поэзии»)

Писатель, которого не печатают, который пишет в стол кровотокающую новую прозу, понимает силу и новизну своего таланта — и лишен читателя. Помогают жить две силы — стихи (все-таки иногда проникающие в печать), и не то что равнодушные, а просто знание истинной цены мнению людей; конечно, поддержка и понимание немногих, которых он уважает или любит, тех, которые верят в него.

Я — верила.

Он умер, глухой, слепой, одинокий, в доме инвалидов и престарелых. Кажется, судьба погубила его, наконец, с помощью ПЧ («прогрессивного человечества»). «Затолкали в яму», как он говорил.

Но начинается жизнь после смерти. Через пять лет после его смерти, в 1987 году, начинается его воскрешение — журналы наперебой печатают прозу, с 1989 года выходят книги. Посмертное «соперничество» с Солженицыным — кто, в конце концов, «главнее». Поверхностные суждения критиков, на двух-трех цитатах строящих свои концепции. Для начала —

это естественно. Проза его непривычна. Но появляются исследователи. Книга Е. В. Волковой «Трагический парадокс Варлама Шаламова» (1998), Ф. Апановича «Новая проза» (Польша, 1997), глубокие, яркие статьи Е. Михайлик (Австралия) и др. Как ни странно, на Западе он находит больше понимания и признания. Недавно один исследователь и переводчик из Франции убеждал меня по телефону, что В. Т. **писатель** («Он именно **писатель**, художник!»). Я говорю — да я это знаю давно. Но он продолжал твердить, что, в отличие от мемуаристов и публицистов, он именно писатель.

Слава его не была громкой, обвальной, но в какой-то степени элитарной. Многие воспринимали КР как мемуары.

Не всем внятный глубокий подтекст, метафоричность, символы — ненавязчивые, кажется, незаметные. Вот и В. Войнович и Л. Чуковская называют его прозу просто очерками. Конечно, в этой мозаике есть и очерки — «для вящей славы документа». Но, думаю, эти уважаемые люди не прочли целиком «Колымских рассказов». Это — труд, душевный труд для читателя. Не просто прочесть, но пережить, перечувствовать! Не глазами, а сердцем. И тогда поднимется перед тобой великая фигура Автора. Бескомпромиссная, правдивая фигура Поэта, которому внятен голос души человеческой, голос камня, ветра и воды, дерева и братьев наших меньших...

Впрочем, он сам говорил, что пока он не чувствует, что его пером водит природа, нечто высшее и непознанное, он не берет пера в руки. Это, кстати, не об «очерках», это об окнах (или провалах) в запредельный мир, который на наших глазах становится явью. Мир, не чтящий заповедей Христа.

«У МЕНЯ НЕ БЫЛО УДАЧ»

В жизни у него не было удач — чьей-то поддержки властной, совпадения случайностей. Все ему удалось неистовым трудом, все оплачено кусками крови, нервов, легких.

Но дал Бог талант, силу и высоту духа, твердость нравственную — много, зато в помощь земной жизни — ничего. Кажется мне, что столько дается святым. Переживают они страдания тела и поругания, истово веря в Царство Божие.

Варлам не имел этого утешения, не верил в Царство Божие на грешной земле, не верил в трусливых, подлых людей, — светлых и крепких духом на земле — единицы.

Но все-таки писал, ибо не писать не мог. Многие, выжившие в колымском аду, ради жизни и покоя стараются забыть, смягчить жестокую правду о людях, о непрочности материала, из которого они сделаны. При помощи палки и даже без палки из 99% людей делают трусов, доносчиков, подлецов. Солженицын — Ветров, бригадир — все, чтобы выжить.

Я знаю сам, что это не игра,
Что это смерть, но я и жизни ради,
Как Архимед, не выроню пера,
Не скомкаю развернутой тетради.

Нет, бригадиром я не стану, «лучше, думаю, умру». (В. Т.)

Из Варлама — не сделали ни бригадира, ни доносчика. Он презирал компромиссы и помощь «прогрессивного человечества» в России и на Западе, ибо ведь и за такую помощь надо платить — облегчить жестокую лагерную правду, не говорить правду вообще о людской природе, а только ту ее частицу, что пригодна для политических манипуляций, а ведь Хиронима, Освенцим, Колыма — явления одного порядка.

Все такие попытки он называл «спекуляцией на чужой крови» и считал подлостью использовать чужую кровь в личных целях, политических целях. Конечно, этот глубокий пессимизм неудобен был ни либералам, ни коммунистам: все они оказывались в одной куче нечистых, все ловчили на чужих судьбах, жизнях, на чужой крови.

Помню, я как-то присутствовала на конференции «Мемориала», очень уважаемого мною общества. Выступали посланцы от разных его отделений и с каким-то странным хвастовством докладывали о произведенных ими раскопках, о количестве «костей».

Хорошее, конечно, дело — упокоить кости мучеников. Но какой-то странный акцент звучал в их речах, неподобающий. Люди явно конкурировали в этом горьком деле и все время кланялись в сторону иностранцев, намекая на недостаточность средств.

«НЕТ МЕМУАРОВ, ЕСТЬ МЕМУАРИСТЫ...»

В. Шаламов

В воспоминаниях о В. Т. есть много неточностей, а часто — лжи (Л. В. Зайвая, С. Григорьянц, Б. Лесняк и др.). Конечно, я тоже не идеальный мемуарист. Одно достоинство — я не вру, но я умалчиваю о многом. О чем? О том, что глубоко личное и мое, и В. Т.

Одно из последних его стихотворений:

Пусть она не забудет меня,
Пусть хранит нашу общую тайну...

А в стихотворении «Она ко мне приходит в гости...»:

Как тайнопись, которой маги
Заворожили свой секрет...

В. Т. глубоко, исповедально был искренен со мной. И я — тоже. Мы понимали друг друга и разумом, и интуитивно. Хотя теперь я понимаю его лучше — догоняю его годами. Больше ценю независимость, тишину, редких-редких близко душевно людей.

Я думаю, что, будь он на моем месте, он тоже сохранил бы нашу общую тайну. И пересказать ее трудно, даже невозможно, слова огрубляют и мысль, и чувство. Можно написать стихотворение, рассказ, музыку — и то не уловить чего-то.

Жаль, что встретились мы поздно, и я не могла посвятить ему жизнь. Об этом жалею и он. Но кто знает? Что к лучшему? Не погрязли бы мы в быте? Не раздражились бы в повседневном общении?

И роль «подарка судьбы» очень трудна. Десять лет я была «подарком», и устала.

Одно могу сказать: человека, душевно более мне близкого, не было у меня. Да и он говорил то же.

Я высоко ставила В. Т. и как писателя, и как человека. Он же стремился поднять меня над собой, уверяя всерьез, что он меня не стоит. Это и в стихах есть: «Среда, которой я не стою, да и не стоил никогда».

Когда не стало в моей жизни В. Т., в душе появилась пустота, которую никто не мог заполнить. Хотя, пожалуй, нет. Душа так устроена, что в ней не бывает пустоты — есть небо, море, цветы, дети, стихи, есть память, есть блаженство, отчего-то посещающее ее... Душа всегда полна.

О КРИТИКАХ

Конечно, писатель — публичное лицо, и в качестве такового подвергается критике. Это понятно. Непонятно, когда критик берет перо или садится за компьютер, элементарно не прочтя работ объекта. Пишут о Шаламове, в основном, эксплуатируя пару цитат, спор идет почти всегда об одном — вот Солженицын и Довлатов считают тюрьму «хождением в народ», а Шаламов считает лагерь — отрицательным опытом и т. п.

Так ведь речь идет о разных вещах — лагерь, страшный колымский лагерь ни Солженицын, ни Довлатов не видели. А тюрьму, Бутырскую тюрьму 1929, 1937 годов (до пыток), Шаламов и сам всегда вспоминал как лучшее место на свете — тепло, на работу не гоняют, читают лекции друг другу, говорят свободно, люди интересные... конечно, до «хождения в народ» (например, А. Генис «Довлатов и окрестности») Шаламов не додумался. Уж больно экзотическая, книжная идея.

Дорогие критики, исследователи, мемуаристы, прежде чем писать — прочтите, прочтите Шаламова! Там многое есть, если присмотреться, что и не снилось нашим мудрецам.

То отвесят комплимент, мол, Солженицын и Шаламов — самые знаменитые ээки.

Да не ээка Шаламов давно — выпустите его из зоны в мир, он пишет о более глубоком и широком, чем зона — о Боге и человеке, в котором при насилии над его телом остается так мало от вложенного Творцом.

Знаю, что слова мои тщетны. Но прочтите, прочтите Шаламова, не пишите о нем, играя двумя-тремя цитатами, да еще собственными придумками, не старайтесь плюнуть в него ради острого словца (как М. Золотаносов).

Будьте честны с ним — он этого заслуживает.

«Выдвигая какую-нибудь гипотезу, не спешите подкрепить ее надерганными фактами, доказывающими Вашу мысль, и не опирайтесь потом на Вашу фантазию как на истину...»

И об энциклопедиях. С горечью читаю я в статье Е. Шкловского о Шаламове в биографическом словаре «Русские писатели XX века» — Дата рождения В. Т. 5 (18) июня 2000 г. — давно, в 1994 году уточнена.

Название эссе «<О моей прозе>» — не авторское, это из письма ко мне, и я его даю в скобках.

Цитата из стихотворения Шаламова приведена неточно: «Не старость, нет, все та же юность...» У Шкловского — «вечность» — даже рифму не помнит автор статьи!

А библиография! Статья Е. В. Волковой называется «Липовый мед», а не липовый. Упомянут только один выпуск «Шаламовского сборника», хотя в 1997 году вышел второй сборник, а также «Материалы IV Шаламовских чтений», а книга Е. В. Волковой «Трагический парадокс Варлама Шаламова» вышла в 1998 г.

Ведь публикации 1998 года учтены во многих статьях «Биографического словаря».

Но В. Т. не везет. В Биобиблиографическом словаре «Русские писатели. XX век» опять-таки неправильная дата рождения В. Т. (автор — А. О. Большев). Не указан последний прижизненный сборник писателя — «Точка кипения» (1977).

Над прозой Шаламов работает до 1982 г., если верить автору статьи, хотя умер В. Т. в январе 1982 г., не раз я писала — последние рассказы написаны в 1973 году. Статья, в целом, удачная, но неплохо бы расширить библиографию. Даже публикации «Вишерь» не указаны (1989).

Все-таки справочники должны быть безупречны — ведь они долговечны.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Теперь, когда прошло много лет после смерти Варлама, я могу прикоснуться к некоторым обстоятельствам, которые тогда мне было и больно, и отвратительно вспоминать.

В очередной раз поражаюсь его пронизательности. Как он говорил о ПЧ: «они затолкают меня в яму и будут писать письма в ООН...» Так и было. Он был беспомощен и не мог выгнать из комнаты ни Сашу Морозова, ни Анис, ни Хинкис... И тут ПЧ показало, на что способно: звонки Евтушенко, записи голоса, которые Морозов почти не разбирал, фотографии В. Т., «поставленные пострашнее», зарубежные публикации, осада директора сразу двумя женами с требованием зарегистрировать брак, планы вывезти больного, слепого, глухого старика за границу...»

Мне говорил журналист Тумановский, посетивший тогда наш архив, о борьбе «жен», о склоках, кипевших вокруг В. Т.

А ему нужен был покой, только покой и записи стихов. А шум и склоки убивали его, как и врачебные комиссии, приводимые Хинкис. Что они могли понять — глухой, слепой, беспомощный старик. Разглядеть, что там, внутри, живет поэт, было не по силам эскулапам. Только в интернат для

И. СИРОТИНСКАЯ

психохроников и могли его отправить — убить. Там он прожил 3 дня. Не устраивали бы шума и склок, прожил бы лишние месяцы.

Лишние месяцы в этом «рае», где было небо над лоджией, березы, еда, мысли, как сверчки, стрекотали в мозгу... Где он хотел жить

До последней минуты,
До конца, до конца...

Его лишили одиночества, покоя, размышлений...

Теперь, когда ему скоро исполнилось бы 100 лет, а нашей дружбе — 41 год. Когда я вспомнила его слова, поступки, прочитала каждую строчку, написанную его рукой, я могу сказать — он был лучшим из людей XX века. Он был святым — неподкупным, твердым, честным — до мелочи — благородным, гениальным прозаиком, великим поэтом.

Я отдала тебе жизнь, друг мой Варлам, мой великий и добрый друг.

Ирина Сиротинская

КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ

ПО СНЕГУ

Как топчут дорогу по снежной целине? Впереди идет человек, по-тея и ругаясь, едва переставляя ноги, поминутно увязая в рыхлом глубоком снегу. Человек уходит далеко, отмечая свой путь неровными черными ямами. Он устает, ложится на снег, закуривает, и махорочный дым стелется синим облачком над белым блестящим снегом. Человек уже ушел дальше, а облачко все еще висит там, где он отдыхал, — воздух почти неподвижен. Дороги всегда прокладывают в тихие дни, чтоб ветры не замели людских трудов. Человек сам намечает себе ориентиры в бескрайности снежной: скалу, высокое дерево, — человек ведет свое тело по снегу так, как рулевой ведет лодку по реке с мыса на мыс.

По проложенному узкому и неверному следу двигаются пять-шесть человек в ряд плечом к плечу. Они ступают около следа, но не в след. Дойдя до намеченного заранее места, они поворачивают обратно и снова идут так, чтобы растоптать снежную целину, то место, куда еще не ступала нога человека. Дорога пробита. По ней могут идти люди, санные обозы, тракторы. Если идти по пути первого след в след, будет заметная, но едва проходимая узкая тропка, стежка, а не дорога, — ямы, по которым пробираться труднее, чем по целине. Первому тяжелее всех, и когда он выбивается из сил, вперед выходит другой из той же головной пятерки. Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след. А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели.

<1956>

НА ПРЕДСТАВКУ

Играли в карты у коногона Наумова. Дежурные надзиратели никогда не заглядывали в барак коногонов, справедливо полагая свою главную службу в наблюдении за осужденными по пятьдесят восьмой статье. Лошадей же, как правило, контрреволюционерам не доверяли. Правда, начальники-практики втихомолку ворчали: они лишались лучших, заботливейших рабочих, но инструкция на сей счет была определена и строга. Словом, у коногонов было всего безопасней, и каждую ночь там собирались бластные для своих карточных поединков.

В правом углу барака на нижних нарах были разостланы разноцветные ватные одеяла. К угловому столбу была прикручена проволокой горящая «колымка» — самодельная лампочка на бензинном паре. В крышку консервной банки впаивались три-четыре открытые медные трубки — вот и все приспособление. Для того чтобы эту лампу зажечь, на крышку клали горячий уголь, бензин согревался, пар поднимался по трубкам, и бензиновый газ горел, зажженный спичкой.

На одеялах лежала грязная пуховая подушка, и по обеим сторонам ее, поджав по-бурятски ноги, сидели партнеры — классическая поза тюремной карточной битвы. На подушке лежала новенькая колода карт. Это не были обыкновенные карты, это была тюремная самодельная колода, которая изготавливается мастерами сих дел со скоростью необычайной. Для изготовления ее нужны бумага (любая книжка), кусок хлеба (чтобы его изжевать и протереть сквозь тряпку для получения крахмала — склеивать листы), огрызок химического карандаша (вместо типографской краски) и нож (для вырезывания и трафаретов мастей, и самих карт).

Сегодняшние карты были только что вырезаны из томика Виктора Гюго — книжка была кем-то позабыта вчера в конторе. Бумага была плотная, толстая — листов не пришлось склеивать, что делается, когда бумага тонка. В лагере при всех обысках неукоснительно отбирались химические карандаши. Их отбирали и при проверке полученных посылок. Это делалось не только для пресечения возможности изготовления документов и штампов (было много художников и таких), но для уничтожения всего, что может соперничать с государственной карточной монополией. Из химического карандаша делали чернила, и чернилами сквозь изготовленный бумажный трафарет наносили узоры на карту — дамы, валеты, десятки всех мастей... Масти не различались по цвету — да различие и не нужно игроку. Валету пик, например, соответствовало изображение пики в двух противоположных углах карты. Расположение и форма узоров столетиями были одинаковыми — меньше собственной рукой изготовить карты входит в программу «рыцарского» воспитания молодого блатаря.

Новенькая колода карт лежала на подушке, и один из играющих хлопывал по ней грязной рукой с тонкими, белыми, нерабочими пальцами. Ноготь мизинца был сверхъестественной длины — тоже блатарский пик, так же, как «фиксы» — золотые, то есть бронзовые, коронки, надеваемые на вполне здоровые зубы. Водились даже мастера — самозванные зубопротезисты, немало подрабатывающие изготовлением таких коронок, неизменно находивших спрос. Что касается ногтей, то цветная полировка их, бесспорно, вошла бы в быт преступного мира, если б можно было в тюремных условиях завести лак. Холеный желтый ноготь поблескивал, как драгоценный камень.левой рукой хозяин ногтя перебирал липкие и грязные светлые волосы. Он был подстрижен «под

бокс» самым аккуратнейшим образом. Низкий, без единой морщинки лоб, желтые кустики бровей, ротик бантиком — все это придавало его физиономии важное качество внешности вора: незаметность. Лицо было такое, что запомнить его было нельзя. Поглядел на него — и забыл, потерял все черты, и не узнать при встрече. Это был Севочка, знаменитый знаток терца, штоса и буры — трех классических карточных игр, вдохновенный истолкователь тысячи карточных правил, строгое соблюдение которых обязательно в настоящем сражении. Про Севочку говорили, что он «превосходно исполняет» — то есть показывает умение и ловкость шулера. Он и был шулер, конечно; честная воровская игра — это и есть игра на обман: следи и уличай партнера, это твое право, умей обмануть сам, умей отспорить сомнительный выигрыш.

Играли всегда двое — один на один. Никто из мастеров не унижал себя участием в групповых играх вроде очка. Садиться с сильными «исполнителями» не боялись — так и в шахматах настоящий боец ищет сильнейшего противника.

Партнером Севочки был сам Наумов, бригадир коногонов. Он был старше партнера (впрочем, сколько лет Севочке — двадцать? тридцать? сорок?), черноволосый мальиш с таким страдальческим выражением черных, глубоко запавших глаз, что, не зная я, что Наумов железнодорожный вор с Кубани, я принял бы его за какого-нибудь странника — монаха или члена известной секты «Бог знает», секты, что вот уже десятки лет встречается в наших лагерях. Это впечатление увеличивалось при виде гайтана с оловянным крестиком, висевшего на шее Наумова, — ворот рубахи его был расстегнут. Этот крестик отнюдь не был кощунственной шуткой, капризом или импровизацией. В то время все блатные носили на шее алюминиевые крестики — это было опознавательным знаком ордена, вроде татуировки.

В двадцатые годы блатные носили технические фуражки, еще ранее — капитанки. В сороковые годы зимой носили они кубанки, подвертывали голенища валенок, а на шее носили крест. Крест обычно был гладким, но если случались художники, их заставляли иголкой расписывать по кресту узоры на любимые темы: сердце, карта, крест, обнаженная женщина... Наумовский крест был гладким. Он висел на темной обнаженной груди Наумова, мешая прочесть синюю наколку-татуировку — цитату из Есенина, единственного поэта, признанного и канонизированного преступным миром:

Как мало пройдено дорог,
Как много сделано ошибок.

— Что ты играешь? — процедил сквозь зубы Севочка с бесконечным презрением: это тоже считалось хорошим тоном начала игры.

— Вот, тряпки. Лепеху эту... — И Наумов похлопал себя по плечам.

— В пятистах играю, — оценил костюм Севочки.

В ответ раздалась громкая многословная ругань, которая должна была убедить противника в гораздо большей стоимости вещи. Окружающие игроки зрители терпеливо ждали конца этой традиционной увертюры. Севочка не оставался в долгу и ругался еще язвительней, сбивая цену. Наконец костюм был оценен в тысячу. Со своей стороны, Севочка играл несколько поношенных джемперов. После того как джемперы были оценены и брошены тут же на одеяло, Севочка стасовал карты.

Я и Гаркунов, бывший инженер-текстильщик, пиляли для наумовского барака дрова. Это была ночная работа — после своего рабочего забойного дня надо было напилить и наколоть дров на сутки. Мы забирались к коногонам сразу после ужина — здесь было теплей, чем в нашем бараке. После работы наумовский дневальный наливал в наши котелки холодную «юшку» — остатки от единственного и постоянного блюда, которое в меню столовой называлось «украинские галушки», и давал нам по куску хлеба. Мы садились на пол где-нибудь в углу и быстро съедали заработанное. Мы ели в полной темноте — барачные бензинки освещали карточное поле, но, по точным наблюдениям тюремных старожилов, ложки мимо рта не пронесешь. Сейчас мы смотрели на игру Севочки и Наумова.

Наумов проиграл свою «лепеху». Брюки и пиджак лежали около Севочки на одеяле. Игралась подушка. Ноготь Севочки вычерчивал в воздухе замысловатые узоры. Карты то исчезали в его ладони, то появлялись снова. Наумов был в нательной рубаше — сатиновая косоворотка ушла вслед за брюками. Услужливые руки накинули ему на плечи телогрейку, но резким движением плеч он сбросил ее на пол. Внезапно все затихло. Севочка неторопливо почесывал подушку своим ногтем.

— Одеяло играю, — хрипло сказал Наумов.

— Двести, — безразличным голосом ответил Севочка.

— Тысячу, сука! — закричал Наумов.

— За что? Это не вещь! Это — локш, дрянь, — выговорил Севочка. — Только для тебя — играю за триста.

Сражение продолжалось. По правилам, бой не может быть окончен, пока партнер еще может чем-нибудь отвечать.

— Валенки играю.

— Не играю валенок, — твердо сказал Севочка. — Не играю казенных тряпок.

В стоимости нескольких рублей был проигран какой-то украинский рушник с петухами, какой-то портсигар с выгисненным профилем Гоголя — все уходило к Севочке. Сквозь темную кожу щек Наумова проступил густой румянец.

— На представку, — заискивающе сказал он.

— Очень нужно, — живо сказал Севочка и протянул назад руку: тотчас же в руку была вложена зажженная махорочная папироса. Севочка

глубоко затянулся и закашлялся. — Что мне твоя представка? Этапов новых нет — где возьмешь? У конвоя, что ли?

Согласие играть «на представку», в долг, было необязательным одолжением по закону, но Севочка не хотел обижать Наумова, лишать его последнего шанса на отыгрыш.

— В сотне, — сказал он медленно. — Даю час представки.

— Давай карту. — Наумов поправил крестик и сел. Он отыграл одеяло, подушку, брюки — и вновь проиграл все.

— Чифирку бы подварить, — сказал Севочка, укладывая выигранные вещи в большой фанерный чемодан. — Я подожду.

— Заварите, ребята, — сказал Наумов.

Речь шла об удивительном северном напитке — крепком чае, когда на небольшую кружку заваривается пятьдесят и больше граммов чая. Напиток крайне горек, пьют его глотками и закусывают соленой рыбой. Он снимает сон и потому в почете у блатных и у северных шоферов в дальних рейсах. Чифирь должен бы разрушительно действовать на сердце, но я знавал многолетних чифиристов, переносящих его почти безболезненно. Севочка отхлебнул глоток из поданной ему кружки.

Тяжелый черный взгляд Наумова обводил окружающих. Волосы спутались. Взгляд дошел до меня и остановился.

Какая-то мысль сверкнула в мозгу Наумова.

— Ну-ка, выйди.

Я вышел на свет.

— Снимай телогрейку.

Было уже ясно, в чем дело, и все с интересом следили за попыткой Наумова.

Под телогрейкой у меня было только казенное нательное белье — гимнастерку выдавали года два назад, и она давно истлела. Я оделся.

— Выходи ты, — сказал Наумов, показывая пальцем на Гаркунова.

Гаркунов снял телогрейку. Лицо его побелело. Под грязной нательной рубахой был надет шерстяной свитер — это была последняя передача от жены перед отправкой в дальнюю дорогу, и я знал, как берег его Гаркунов, стирая его в бане, суша на себе, ни на минуту не выпуская из своих рук, — фуфайку украли бы сейчас же товарищи.

— Ну-ка, снимай, — сказал Наумов.

Севочка одобрительно помахивал пальцем — шерстяные вещи ценились. Если отдать выстирать фуфаечку да выпарить из нее вшей, можно и самому носить — узор красивый.

— Не сниму, — сказал Гаркунов хрипло. — Только с кожей...

На него кинулись, сбили с ног.

— Он кусается, — крикнул кто-то.

С пола медленно поднялся Гаркунов, вытирая рукавом кровь с лица. И сейчас же Сашка, дневальный Наумова, тот самый Сашка, который

час назад наливал нам супчику за пилку дров, чуть присел и выдернул что-то из-за голенища валенка. Потом он протянул руку к Гаркунову, и Гаркунов всхлипнул и стал валиться на бок.

— Не могли, что ли, без этого! — закричал Севочка. В мерцавшем свете бензинки было видно, как сереет лицо Гаркунова.

Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную рубашку и стянул свитер через голову. Свитер был красный, и кровь на нем была едва заметна. Севочка бережно, чтобы не запачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан. Игра была кончена, и я мог идти домой. Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров.

1956

НОЧЬЮ

Ужин кончился. Глебов неторопливо вылизал миску, тщательно сгреб со стола хлебные крошки в левую ладонь и, поднеся ее ко рту, бережно слизал крошки с ладони. Не глотая, он ощущал, как слюна во рту густо и жадно обволакивает крошечный комочек хлеба. Глебов не мог бы сказать, было ли это вкусно. Вкус — это что-то другое, слишком бедное по сравнению с этим страстным, самозабвенным ощущением, которое давала пицца. Глебов не торопился глотать: хлеб сам таял во рту, и таял быстро.

Ввалившиеся, блестящие глаза Багрецова неотрывно глядели Глебову в рот — не было ни в ком такой могучей воли, которая помогла бы отвести глаза от пиццы, исчезающей во рту другого человека. Глебов проглотил слюну, и сейчас же Багрецов перевел глаза к горизонту — на большую оранжевую луну, выползавшую на небо.

— Пора, — сказал Багрецов.

Они молча пошли по тропе к скале и поднялись на небольшой уступ, огибавший сопку; хоть солнце зашло недавно, камни, днем обжигавшие подошвы сквозь резиновые галоши, надетые на босу ногу, сейчас уже были холодными. Глебов застегнул телогрейку. Ходьба не грела его.

— Далеко еще? — спросил он шепотом.

— Далеко, — негромко ответил Багрецов.

Они сели отдыхать. Говорить было не о чем, да и думать было не о чем — все было ясно и просто. На площадке, в конце уступа, были кучи развороченных камней, сорванного, ссохшегося мха.

— Я мог бы сделать это и один, — усмехнулся Багрецов, — но вдвоем веселее. Да и для старого приятеля...

Их привезли на одном пароходе в прошлом году. Багрецов остановился.

— Надо лечь, увидят.

Они легли и стали отбрасывать в сторону камни. Больших камней, таких, чтобы нельзя было поднять, переместить вдвоем, здесь не было, потому что те люди, которые набрасывали их сюда утром, были не сильнее Глебова.

Багрецов негромко выругался. Он оцарапал палец, текла кровь. Он присыпал рану песком, вырвал клочок ваты из телогрейки, прижал — кровь не останавливалась.

— Плохая свертываемость, — равнодушно сказал Глебов.

— Ты врач, что ли? — спросил Багрецов, отсасывая кровь.

Глебов молчал. Время, когда он был врачом, казалось очень далеким. Да и было ли такое время? Слишком часто тот мир за горами, за морями казался ему каким-то сном, выдумкой. Реальной была минута, час, день от подъема до отбоя — дальше он не загадывал и не находил в себе сил загадывать. Как и все.

Он не знал прошлого тех людей, которые его окружали, и не интересовался им. Впрочем, если бы завтра Багрецов объявил себя доктором философии или маршалом авиации, Глебов поверил бы ему, не задумываясь. Был ли он сам когда-нибудь врачом? Утрачен был не только автоматизм суждений, но и автоматизм наблюдений. Глебов видел, как Багрецов отсасывал кровь из грязного пальца, но ничего не сказал. Это лишь скользнуло в его сознании, а воли к ответу он в себе найти не мог и не искал. То сознание, которое у него еще оставалось и которое, возможно, уже не было человеческим сознанием, имело слишком мало граней и сейчас было направлено лишь на одно — чтобы скорее убрать камни.

— Глубоко, наверно? — спросил Глебов, когда они улеглись отдыхать.

— Как она может быть глубокой? — сказал Багрецов. И Глебов сообразил, что он спросил чепуху и что яма действительно не может быть глубокой.

— Есть, — сказал Багрецов.

Он дотронулся до человеческого пальца. Большой палец ступни выглядывал из камней — на лунном свете он был отлично виден. Палец был не похож на пальцы Глебова или Багрецова, но не тем, что был безжизненным и окоченелым, — в этом-то было мало различия. Ногти на этом мертвом пальце были острижены, сам он был полнее и мягче глебовского. Они быстро откинули камни, которыми было завалено тело.

— Молодой совсем, — сказал Багрецов. Вдвоем они с трудом вытащили труп за ноги.

— Здоровый какой, — сказал Глебов, задыхаясь.

— Если бы он не был такой здоровый, — сказал Багрецов, — его похоронили бы так, как хоронят нас, и нам не надо было бы идти сюда сегодня.

Они разогнули мертвецу руки и стащили рубашку.

— А кальсоны совсем новые, — удовлетворенно сказал Багрецов.

Стащили и кальсоны. Глебов запрятал комок белья под телогрейку.

— Надень лучше на себя, — сказал Багрецов.

— Нет, не хочу, — пробормотал Глебов.

Они уложили мертвеца обратно в могилу и закидали ее камнями.

Синий свет взопедевшей луны ложился на камни, на редкий лес тайги, показывая каждый уступ, каждое дерево в особом, не дневном виде. Все казалось по-своему настоящим, но не тем, что днем. Это был как бы второй, ночной, облик мира.

Белье мертвеца согрелось за пазухой Глебова и уже не казалось чужим.

— Закурить бы, — сказал Глебов мечтательно.

— Завтра закуришь.

Багрецов улыбался. Завтра они продадут белье, променяют на хлеб, может быть, даже достанут немного табаку...

1954

ПЛОТНИКИ

Круглыми сутками стоял белый туман такой густоты, что в двух шагах не было видно человека. Впрочем, ходить далеко в одиночку не приходилось. Немногие направления — столовая, больница, вахта — угадывались неведомо как приобретенным инстинктом, сродни тому чувству направления, которым в полной мере обладают животные и которое в подходящих условиях просыпается и в человеке.

Градусника рабочим не показывали, да это было и не нужно — выходить на работу приходилось в любые градусы. К тому же старожилы почти точно определяли мороз без градусника: если стоит морозный туман, значит, на улице сорок градусов ниже нуля; если воздух при дыхании выходит с шумом, но дышать еще не трудно — значит, сорок пять градусов; если дыхание шумно и заметна одышка — пятьдесят градусов. Свыше пятидесяти пяти градусов — плевков замерзает на лету. Плевки замерзали на лету уже две недели.

Каждое утро Поташников просыпался с надеждой — не упал ли мороз? Он знал по опыту прошлой зимы, что, как бы ни была низка температура, для ощущения тепла важно резкое изменение, контраст. Если даже мороз упадет до сорока — сорока пяти градусов — два дня будет тепло, а дальше чем на два дня не имело смысла строить планы.

Но мороз не падал, и Поташников понимал, что выдержать дольше не может. Завтрака хватало, самое большее, на один час работы, потом приходила усталость, и мороз пронизывал все тело до костей — это народное выражение отнюдь не было метафорой. Можно было только

махать инструментом и скакать с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть до обеда. Горячий обед, пресловутая юшка и две ложки каши, мало восстанавливал силы, но все же согревал. И опять силы для работы хватало на час, а затем Поташников охватывало желание не то согреться, не то просто лечь на колочие мерзлые камни и умереть. День все же кончался, и после ужина, напившись воды с хлебом, который ни один рабочий не ел в столовой с супом, а уносил в барак, Поташников тут же ложился спать.

Он спал, конечно, на верхних нарах — внизу был ледяной погреб, и те, чьи места были внизу, половину ночи простаивали у печки, обнимая ее по очереди руками, — печка была чуть теплая. Дров вечно не хватало: за дровами надо было идти за четыре километра после работы, все и всячески уклонялись от этой повинности. Вверху было теплее, хотя, конечно же, спали в том, в чем работали, — в шапках, телогрейках, бушлатах, ватных брюках. Вверху было теплее, но и там за ночь волосы примерзали к подушке.

Поташников чувствовал, как с каждым днем сил становилось все меньше и меньше. Ему, тридцатилетнему мужчине, уже трудно взбираться на верхние нары, трудно спускаться. Сосед его умер вчера, просто умер, не проснулся, и никто не интересовался, отчего он умер, как будто причина смерти была лишь одна, хорошо известная всем. Дневальный радовался, что смерть произошла не вечером, а утром — суточное довольствие умершего оставалось дневальному. Все это понимали, и Поташников осмелел и подошел к дневальному: «Отломи корочку», — но тот встретил его такой крепкой руганью, какой может ругаться только человек, ставший из слабого сильным и знающий, что его ругань безнаказанна. Только при чрезвычайных обстоятельствах слабый ругает сильного, и это — смелость отчаяния. Поташников замолчал и отошел.

Надо было на что-то решаться, что-то выдумывать своим ослабевшим мозгом. Или — умереть. Смерти Поташников не боялся. Но было тайное страстное желание, какое-то последнее упрямство — желание умереть где-нибудь в больнице, на койке, на постели, при внимании других людей, пусть казенном внимании, но не на улице, не на морозе, не под сапогами конвоя, не в бараке среди брани, грязи и при полном равнодушии всех. Он не винил людей за равнодушие. Он понял давно, откуда эта душевная тупость, душевный холод. Мороз, тот самый, который обращал в лед слюну на лету, добрался и до человеческой души. Если могли промерзнуть кости, мог промерзнуть и отупеть мозг, могла промерзнуть и душа. На морозе нельзя было думать ни о чем. Все было просто. В холод и голод мозг снабжался питанием плохо, клетки мозга сохли — это был явный материальный процесс, и бог его знает, был ли этот процесс обратимым, как говорят в медицине, подобно отморожению, или разрушения были навечно. Так и душа — она промерзла, сжалась и, может быть, навсегда останется холодной. Все эти мысли

были у Поташникова раньше — теперь не оставалось ничего, кроме желания перетерпеть, переждать мороз живым.

Нужно было, конечно, раньше искать каких-то путей спасения. Таких путей было не много. Можно было стать бригадиром или смотрителем, вообще держаться около начальства. Или около кухни. Но на кухне были сотни конкурентов, а от бригадирства Поташников отказался еще год назад, дав себе слово не позволять насиловать чужую человеческую волю здесь. Даже ради собственной жизни он не хотел, чтобы умиравшие товарищи бросали в него свои предсмертные проклятия. Поташников ждал смерти со дня на день, и день, кажется, подошел.

Проглотив миску теплого супа, дожевывая хлеб, Поташников добрался до места работы, едва волоча ноги. Бригада была выстроена перед началом работы, и вдоль рядов ходил какой-то толстый красноротый человек в оленьей шапке, якутских торбасах и в белом полушубке. Он вглядывался в изможденные, грязные, равнодушные лица рабочих. Люди молча топтались на месте, ожидая конца неожиданной задержки. Бригадир стоял тут же, почтительно говоря что-то человеку в оленьей шапке:

— А я вас уверяю, Александр Евгеньевич, что у меня нет таких людей. К Соболеву и бытовичкам сходите, а это ведь интеллигенция, Александр Евгеньевич, — одно мученье.

Человек в оленьей шапке перестал разглядывать людей и повернулся к бригадиру.

— Бригадир ты не знаешь своих людей, не хочешь знать, не хочешь нам помочь, — хрипло сказал он.

— Воля ваша, Александр Евгеньевич.

— Вот я тебе сейчас покажу. Как твоя фамилия?

— Иванов моя фамилия, Александр Евгеньевич.

— Вот, гляди. Эй, ребята, внимание. — Человек в оленьей шапке встал перед бригадой. — Управлению нужны плотники — делать копра для возки грунта.

Все молчали.

— Вот видите, Александр Евгеньевич, — зашептал бригадир.

Поташников вдруг услышал свой собственный голос:

— Есть. Я плотник. — И сделал шаг вперед.

С правого фланга молча шагнул другой человек. Поташников знал его — это был Григорьев.

— Ну, — человек в оленьей шапке повернулся к бригадиру, — ты шляпа и дерьмо. Ребята, пошли за мной.

Поташников и Григорьев поплелись за человеком в оленьей шапке. Он приостановился.

— Если так будем идти, — прохрипел он, — мы и к обеду не придем. Вот что. Я пойду вперед, а вы приходите в столярную мастерскую к прорабу Сергееву. Знаете, где столярная мастерская?

— Знаем, знаем! — закричал Григорьев. — Угостите закурить, пожалуйста.

— Знакомая просьба, — сквозь зубы пробормотал человек в оленьей шапке и, не вынимая коробки из кармана, выгасил две папиросы.

Поташников шел впереди и напряженно думал. Сегодня он будет в тепле столярной мастерской — точить топор и делать топорнице. И точить пилу. Торопиться не надо. До обеда они будут получать инструмент, выписывать, искать кладовщика. А сегодня к вечеру, когда выяснится, что он топорнице сделать не может, а пилу развести не умеет, его выгонят, и завтра он вернется в бригаду. Но сегодня он будет в тепле. А может быть, и завтра, и послезавтра он будет плотником, если Григорьев — плотник. Он будет подручным у Григорьева. Зима уже кончается. Лето, короткое лето он как-нибудь проживет.

Поташников остановился, ожидая Григорьева.

— Ты можешь это... плотничать? — задыхаясь от внезапной надежды, выговорил он.

— Я, видишь ли, — весело сказал Григорьев, — аспирант Московского филологического института. Я думаю, что каждый человек, имеющий высшее образование, тем более гуманитарное, обязан уметь вытесать топорнице и развести пилу. Тем более если это надо делать рядом с горячей печкой.

— Значит, и ты...

— Ничего не значит. На два дня мы их обманем, а потом — какое тебе дело, что будет потом.

— Мы обманем на один день. Завтра нас вернут в бригаду.

— Нет. За один день нас не успеют перевести по учету в столярную мастерскую. Надо ведь подавать сведения, списки. Потом опять отчислять...

Вдвоем они едва отворили примерзшую дверь. Посредине столярной мастерской горела раскаленная докрасна железная печка, и пять столяров на своих верстаках работали без телогреек и шапок. Пришедшие встали на колени перед открытой дверцей печки, перед богом огня, одним из первых богов человечества. Скинув рукавицы, они простерли руки к теплу, совали их прямо в огонь. Многократно отмороженные пальцы, потерявшие чувствительность, не сразу ощутили тепло. Через минуту Григорьев и Поташников сняли шапки и растегнули бушлаты, не вставая с колен.

— Вы зачем? — недружелюбно спросил их столяр.

— Мы плотники. Будем работать тут, — сказал Григорьев.

— По распоряжению Александра Евгеньевича. — добавил поспешно Поташников.

— Это, значит, о вас говорил прораб, чтобы выдать вам топоры, — сказал Арнштрем, пожилой инструментальщик, стругавший в углу черенки к лопатам.

— О нас, о нас...

— Берите, — недоверчиво оглядев их, сказал Арнштрем. — Вот вам два топора, пила и разводка. Разводку потом назад отдайте. Вот мой топор, вытешьте топориче.

Арнштрем улыбнулся.

— Дневная норма мне на топорича — тридцать штук, — сказал он.

Григорьев взял чурку из рук Арнштрема и начал тесать. Загудел обесбеленный гудок. Арнштрем, не одеваясь, молча смотрел на работу Григорьева.

— Теперь ты, — сказал он Поташникову. Поташников поставил плечо на чурбан, взял топор из рук Григорьева и начал тесать.

— Хватит, — сказал Арнштрем.

Столяры уже ушли обедать, и в мастерской никого, кроме трех людей, не было.

— Возьмите вот два моих топорича, — Арнштрем подал готовые топорича Григорьеву, — и насадите топоры. Точите пилу. Сегодня и завтра грейтесь у печки. Послезавтра идите туда, откуда пришли. Вот вам кусок хлеба к обеду.

Сегодня и завтра они грелись у печки, а послезавтра мороз упал сразу до тридцати градусов — зима уже кончалась.

1954

ОДИНОЧНЫЙ ЗАМЕР

Вечером, сматывая рулетку, смотритель сказал, что Дугаев получит на следующий день одиночный замер. Бригадир, стоявший рядом и просивший смотрителя дать в долг «десяток кубиков до послезавтра», внезапно замолчал и стал глядеть на замерцавшую за гребнем сопки вечернюю звезду. Баранов, напарник Дугаева, помогавший смотрителю замерять сделанную работу, взял лопату и стал подчищать давно вычищенный забой.

Дугаеву было двадцать три года, и все, что он здесь видел и слышал, больше удивляло, чем пугало его.

Бригада собралась на переключку, сдала инструмент и в арестантском неровном строю вернулась в барак. Трудный день был кончен. В столовой Дугаев, не садясь, вынул через борт миски порцию жидкого холодного крупяного супа. Хлеб выдавался утром на весь день и был давно съеден. Хотелось курить. Он огляделся, соображая, у кого бы выпросить окурков. На подоконнике Баранов собирал в бумажку махорочные крупинки из вывернутого кисета. Собрав их тщательно, Баранов свернул тоненькую папироску и протянул ее Дугаеву.

— Кури, мне оставишь, — предложил он.

Дугаев удивился — они с Барановым не были дружны. Впрочем, при голоде, холоде и бессоннице никакая дружба не завязывается, и Дугаев, несмотря на молодость, понимал всю фальшивость поговорки о дружбе, проверяемой несчастьем и бедою. Для того чтобы дружба была дружбой, нужно, чтобы крепкое основание ее было заложено тогда, когда условия, быт еще не дошли до последней границы, за которой уже ничего человеческого нет в человеке, а есть только недоверие, злоба и ложь. Дугаев хорошо помнил северную поговорку, три арестантские заповеди: не верь, не бойся и не проси...

Дугаев жадно всосал сладкий махорочный дым, и голова его закружилась.

— Слабею, — сказал он. Баранов промолчал.

Дугаев вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Последнее время он спал плохо, голод не давал хорошо спать. Сны снились особенно мучительные — буханки хлеба, дымящиеся жирные супы... Забыть наступало не скоро, но все же за полчаса до подъема Дугаев уже открыл глаза.

Бригада пришла на работу. Все разошлись по своим забоям.

— А ты подожди, — сказал бригадир Дугаеву. — Тебя смотритель поставит.

Дугаев сел на землю. Он уже успел утомиться настолько, чтобы с полным безразличием отнестись к любой перемене в своей судьбе.

Загрелись первые тачки на трапе, заскрежетали лопаты о камень.

— Иди сюда, — сказал Дугаеву смотритель. — Вот тебе место. — Он вымерил кубатуру забоя и поставил метку — кусок кварца. — Досюда, — сказал он. — Траповщик тебе доску до главного трапа дотянет. Возить туда, куда и все. Вот тебе лопата, кайло, лом, тачка — вози.

Дугаев послушно начал работу.

«Еще лучше», — думал он. Никто из товарищей не будет ворчать, что он работает плохо. Бывшие хлебоборы не обязаны понимать и знать, что Дугаев новичок, что сразу после школы он стал учиться в университете, а университетскую скамью променял на этот забой. Каждый за себя. Они не обязаны, не должны понимать, что он истощен и голоден уже давно, что он не умеет красть: уметь красть — это главная северная добродетель во всех ее видах, начиная от хлеба товарища и кончая выпиской тысячных премий начальству за несуществующие, небывшие достижения. Никому нет дела до того, что Дугаев не может выдержать шестнадцатичасового рабочего дня.

Дугаев возил, кайлил, сыпал, опять возил и опять кайлил и сыпал.

После обеденного перерыва пришел смотритель, поглядел на сделанное Дугаевым и молча ушел... Дугаев опять кайлил и сыпал. До кварцевой метки было еще очень далеко.

Вечером смотритель снова явился и размотал рулетку. Он смерил то, что сделал Дугаев.

— Двадцать пять процентов, — сказал он и посмотрел на Дугаева. — Двадцать пять процентов. Ты слышишь?

— Слышу, — сказал Дугаев. Его удивила эта цифра. Работа была так тяжела, так мало камня подцеплялось лопатой, так тяжело было кайлить. Цифра — двадцать пять процентов нормы — показалась Дугаеву очень большой. Ныли икры, от упора на тачку нестерпимо болели руки, плечи, голова. Чувство голода давно покинуло его.

Дугаев ел потому, что видел, как едят другие, что-то подсказывало ему: надо есть. Но он не хотел есть.

— Ну, что ж, — сказал смотритель, уходя. — Желаю здравствовать.

Вечером Дугаева вызвали к следователю. Он ответил на четыре вопроса: имя, фамилия, статья, срок. Четыре вопроса, которые по тридцать раз в день задают арестанту. Потом Дугаев пошел спать. На следующий день он опять работал с бригадой, с Барановым, а в ночь на послезавтра его повели солдаты за конбазу, и повели по лесной тропке к месту, где, почти перегораживая небольшое ущелье, стоял высокий забор с колючей проволокой, натянутой поверху, и откуда по ночам доносилось отдаленное стрекотание тракторов. И, поняв, в чем дело, Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшний день.

<1955>

ПОСЫЛКА

Посылки выдавали на вахте. Бригадиры удостоверяли личность получателя. Фанера ломалась и трещала по-своему, по-фанерному. Здепные деревья ломались не так, кричали не таким голосом. За барьером из скамеек люди с чистыми руками в чересчур аккуратной военной форме вскрывали, проверяли, встряхивали, выдавали. Ящики посылок, едва живые от многомесячного путешествия, подброшенные умело, падали на пол, раскалывались. Куски сахара, сушеные фрукты, загнивший лук, мягкие пачки махорки разлетались по полу. Никто не подбирал рассыпанное. Хозяева посылок не протестовали — получить посылку было чудом из чудес.

Возле вахты стояли конвоиры с винтовками в руках — в белом морозном тумане двигались какие-то незнакомые фигуры.

Я стоял у стены и ждал очереди. Вот эти голубые куски — это не лед! Это сахар! Сахар! Сахар! Пройдет еще час, и я буду держать в руках эти куски, и они не будут таять. Они будут таять только во рту. Такого большого куска мне хватит на два раза, на три раза.

А махорка! Собственная махорка! Материковская махорка, ярославская «Белка» или «Кременчуг № 2». Я буду курить, буду угощать всех, всех, всех, а прежде всего тех, у кого я докуривал весь этот год. Мате-

риковская махорка! Нам ведь давали в пайке табак, снятый по срокам хранения с армейских складов, — авантюра гигантских масштабов: на лагерь списывались все продукты, что вылежали сроки хранения. Но сейчас я буду курить настоящую махорку. Ведь если жена не знает, что нужна махорка покрепче, ей подскажут.

— Фамилия?

Посылка треснула, и из ящика высыпался чернослив, кожаные ягоды чернослива. А где же сахар? Да и чернослива — две-три горсти...

— Тебе бурки! Летчицкие бурки! Ха-ха-ха! С каучуковой подошвой! Ха-ха-ха! Как у начальника принска! Держи, принимай!

Я стоял растерянный. Зачем мне бурки? В бурках здесь можно ходить только по праздникам — праздников-то и не было. Если бы оленьи пи́мы, торбаса или обыкновенные валенки. Бурки — это чересчур шикарно... Это не подобает. Притом...

— Слышь ты... — Чья-то рука тронула мое плечо.

Я повернулся так, чтобы было видно и бурки, и ящик, на дне которого было немного чернослива, и начальство, и лицо того человека, который держал мое плечо. Это был Андрей Бойко, наш горный смотритель.

А Бойко шептал торопливо:

— Продай мне эти бурки. Я тебе денег дам. Сто рублей. Ты ведь до барака не донесешь — отнимут, вырвут эти. — И Бойко ткнул пальцем в белый туман. — Да и в бараке украдут. В первую ночь.

«Сам же ты и подошлешь», — подумал я.

— Ладно, давай деньги.

— Видишь, какой я! — Бойко отсчитывал деньги. — Не обманываю тебя, не как другие. Сказал сто — и даю сто. — Бойко боялся, что переплатил лишнего.

Я сложил грязные бумажки вчетверо, восьмеро и упрятал в брючный карман. Чернослив пересыпал из ящика в бушлат — карманы его давно были вырваны на кисеты.

Куплю масла! Килограмм масла! И буду есть с хлебом, супом, кашей. И сахару! И сумку достану у кого-нибудь — торбочку с бечевочным шнурком. Непременная принадлежность всякого приличного заключенного из фраеров. Блатные не ходят с торбочками.

Я вернулся в барак. Все лежали на нарах, только Ефремов сидел, положив руки на остывшую печку, и тянулся лицом к исчезающему теплу, боясь разогнуться, оторваться от печки.

— Что же не растопляешь?

Подошел дневальный.

— Ефремовское дежурство! Бригадир сказал: пусть где хочет, там и берет, а чтоб дрова были. Я тебе спать все равно не дам. Иди, пока не поздно.

Ефремов выскользнул в дверь барака.

— Где ж твоя посылка?

— Ошиблись...

Я побежал к магазину. Шапаренко, завмаг, еще торговал. В магазине ничего не было.

— Шапаренко, мне хлеба и масла.

— Угробишь ты меня.

— Ну, возьми, сколько надо.

— Денег у меня видишь сколько? — сказал Шапаренко. — Что такой фитиль, как ты, может дать? Бери хлеб и масло и отрывайся быстро.

Сахару я забыл попросить. Масла — килограмм. Хлеба — килограмм. Пойду к Семену Шейнину. Шейнин был бывший референт Кирова, еще не расстрелянный в это время. Мы с ним работали когда-то вместе, в одной бригаде, но судьба нас развела.

Шейнин был в бараке.

— Давай есть. Масло, хлеб. — Голодные глаза Шейнина заблестали.

— Сейчас я кипятку...

— Да не надо кипятку!

— Нет, я сейчас. — И он исчез.

Тут же кто-то ударил меня по голове чем-то тяжелым, и, когда я вскочил, пришел в себя, сумки не было. Все оставались на своих местах и смотрели на меня со злобной радостью. Развлечение было лучшего сорта. В таких случаях радовались вдвойне: во-первых, кому-то плохо, во-вторых, плохо не мне. Это не зависть, нет...

Я не плакал. Я еле остался жив. Прошло тридцать лет, и я помню отчетливо полутемный барак, злобные, радостные лица моих товарищей, сырое полено на полу, бледные щеки Шейнина.

Я пришел снова в ларек. Я больше не просил масла и не спрашивал сахару. Я выпросил хлеба, вернулся в барак, натаял снегу и стал варить чернослив.

Барак уже спал: стонал, хрипел и кашлял. Мы трое варили у печки каждый свое: Синцов кипятил сбереженную от обеда корку хлеба, чтобы съесть ее, вязкую, горячую, и чтобы вышить потом с жадностью горячую снеговую воду, пахнущую дождем и хлебом. А Губарев натолкал в котелок листьев мерзлой капусты — счастливец и хитрец. Капуста пахла, как лучший украинский борщ! А я варил посылочный чернослив. Все мы не могли не глядеть в чужую посуду.

Кто-то пинком распахнул двери барака. Из облака морозного пара вышли двое военных. Один, помоложе, — начальник лагеря Коваленко, другой, постарше, — начальник прииска Рябов. Рябов был в авиационных бурках — в моих бурках! Я с трудом сообразил, что это ошибка, что бурки рябовские.

Коваленко бросился к печке, размахивая кайлом, которое он принес с собой.

— Опять котелки! Вот я сейчас вам покажу котелки! Покажу, как грязь разводить!

Коваленко опрокинул котелки с супом, с коркой хлеба и листьями капусты, с черносливом и пробил кайлом дно каждого котелка.

Рябов грел руки о печную трубу.

— Есть котелки — значит, есть что варить, — глубокомысленно изрек начальник прииска. — Это, знаете, признак довольства.

— Да ты бы видел, что они варят, — сказал Коваленко, растаптывая котелки.

Начальники вышли, и мы стали разбирать смятые котелки и собирать каждый свое: я — ягоды, Синцов — размокший, бесформенный хлеб, а Губарев — крошки капустных листьев. Мы все сразу съели — так было надежней всего.

Я проглотил несколько ягод и заснул. Я давно научился засыпать раньше, чем согреются ноги, — когда-то я этого не мог, но опыт, опыт... Сон был похож на забытье.

Жизнь возвращалась, как сновиденье, — снова раскрылись двери: белые клубы пара, прилегли к полу, пробежавшие до дальней стены барака, люди в белых полушубках, вонючих от новизны, необношенности, и рухнувшее на пол что-то, не шевелящееся, но живое, хрюкающее.

Дневальный, в недоуменной, но почтительной позе склонившийся перед белыми тулупами десятников.

— Ваш человек? — И смотритель показал на комок грязного тряпья на полу.

— Это Ефремов, — сказал дневальный.

— Будет знать, как воровать чужие дрова.

Ефремов много недель пролежал рядом со мной на нарах, пока его не увезли, и он умер в инвалидном городке. Ему отбили «нутро» — мастеров этого дела на прииске было немало. Он не жаловался — он лежал и тихонько стонал.

1960

ДОЖДЬ

Мы бурили на новом полигоне третий день. У каждого был свой шурф, и за три дня каждый углубился на полметра, не больше. До мерзлоты еще никто не дошел, хотя и ломы и кайла заправлялись без всякой задержки — редкий случай; кузнецам было нечего оттягивать — работала только наша бригада. Все дело было в дожде. Дождь лил третьи сутки не переставая. На каменистой почве нельзя узнать — час льет дождь или месяц. Холодный мелкий дождь. Соседние с нами бригады

давно уже сняли с работы и увели домой, но то были бригады блата-рей — даже для зависти у нас не было силы.

Десятник в намокшем огромном брезентовом плаще с капюшоном, угловатом, как пирамида, появлялся редко. Начальство возлагало большие надежды на дождь, на холодные плети воды, опускавшиеся на наши спины. Мы давно были мокры, не могу сказать, до белья, потому что белья у нас не было. Примитивный тайный расчет начальства был таков, что дождь и холод заставят нас работать. Но ненависть к работе была еще сильнее, и каждый вечер десятник с проклятием опускал в шурф свою деревянную мерку с зарубками. Конвой стерег нас, укрывшись под «грибом» — известным лагерным сооружением.

Мы не могли выходить из шурфов — мы были бы застрелены. Ходить между шурфами мог только наш бригадир. Мы не могли кричать друг другу — мы были бы застрелены. И мы стояли молча, по пояс в земле, в каменных ямах, длинной вереницей шурфов растягиваясь по берегу высохшего ручья.

За ночь мы не успевали высушить наши бушлаты, а гимнастерки и брюки мы ночью сушили своим телом и почти успевали высушить. Голодный и злой, я знал, что ничто в мире не заставит меня покончить с собой. Именно в это время я стал понимать суть великого инстинкта жизни — того самого качества, которым наделен в высшей степени человек. Я видел, как изнемогали и умирали наши лошади — я не могу выразиться иначе, воспользоваться другими глаголами. Лошади ничем не отличались от людей. Они умирали от Севера, от непосильной работы, плохой пищи, побоев, и хоть всего этого было дано им в тысячу раз меньше, чем людям, они умирали раньше людей. И я понял самое главное, что человек стал человеком не потому, что он божье создание, и не потому, что у него удивительный большой палец на каждой руке. А потому, что был он физически крепче, выносливее всех животных, а позднее потому, что заставил свое духовное начало успешно служить началу физическому.

Вот обо всем этом в сотый раз думал я в этом шурфе. Я знал, что не покончу с собой потому, что проверил эту свою жизненную силу. В таком же шурфе, только глубоко, недавно я выкайлил огромный камень. Я много дней бережно освобождал его страшную тяжесть. Из этой тяжести недоброй я думал создать нечто прекрасное — по словам русского поэта. Я думал спасти свою жизнь, сломав себе ногу. Воистину это было прекрасное намерение, явление вполне эстетического рода. Камень должен был рухнуть и раздробить мне ногу. И я — навеки инвалид! Эта страстная мечта подлежала расчету, и я точно подготовил место, куда поставлю ногу, представил, как легонько поверну кайлом — и камень рухнет. День, час и минута были назначены и пришли. Я поставил правую ногу под висящий камень, похвалил себя за спокойствие, поднял руку и повернул, как рычаг, заложенное за камень кайло. И ка-

мень пополз по стене в назначенное и вычисленное место. Но сам не знаю, как это случилось, — я отдернул ногу. В тесном шурфе нога была помята. Два синяка, три ссадины — вот и весь результат так хорошо подготовленного дела.

И я понял, что не гожусь ни в членовредители, ни в самоубийцы. Мне оставалось только ждать, пока маленькая неудача сменится маленькой удачей, пока большая неудача исчерпает себя. Ближайшей удачей был конец рабочего дня, три глотка горячего супу — если даже суп будет холодный, его можно подогреть на железной печке, а котелок — трехлитровая консервная банка — у меня есть. Закурить, вернее, докурить, я попрошу у нашего дневального Степана.

Вот так, перемешивая в мозгу «звездные» вопросы и мелочи, я ждал, вымокший до нитки, но спокойный. Были ли эти рассуждения некой тренировкой мозга? Ни в коем случае. Все это было естественно, это была жизнь. Я понимал, что тело, а значит, и клетки мозга получают питание недостаточное, мозг мой давно уже на голодном пайке и что это неминуемо скажется сумасшествием, ранним склерозом или как-нибудь еще... И мне весело было думать, что я не доживу, не успею дожить до склероза. Лил дождь.

Я вспомнил женщину, которая вчера прошла мимо нас по тропинке, не обращая внимания на окрики конвоя. Мы приветствовали ее, и она нам показалась красавицей — первая женщина, увиденная нами за три года. Она помахала нам рукой, показала на небо, куда-то в угол небосвода, и крикнула: «Скоро, ребята, скоро!» Радостный рев был ей ответом. Я никогда ее больше не видел, но всю жизнь ее вспоминал — как могла она так понять и так утешить нас. Она указывала на небо, вовсе не имея в виду загробный мир. Нет, она показывала только, что невидимое солнце спускается к западу, что близок конец трудового дня. Она по-своему повторила нам гётевские слова о горных вершинах. О мудрости этой простой женщины, какой-то бывшей или сущей проститутки — ибо никаких женщин, кроме проституток, в то время в этих краях не было, — вот о ее мудрости, о ее великом сердце я и думал, и шорох дождя был хорошим звуковым фоном для этих мыслей. Серый каменный берег, серые горы, серый дождь, серое небо, люди в серой рваной одежде — все было очень мягкое, очень согласное друг с другом. Все было какой-то единой цветовой гармонией — дьявольской гармонией.

И в это время раздался слабый крик из соседнего шурфа. Моим соседом был некто Розовский, пожилой агроном, изрядные специальные знания которого, как и знания врачей, инженеров, экономистов, не могли здесь найти применения. Он звал меня по имени, и я откликнулся ему, не обращая внимания на угрожающий жест конвоира — издалека, из-под гриба.

— Слушайте, — кричал он, — слушайте! Я долго думал! И понял, что смысла жизни нет... Нет...

Тогда я выскочил из своего шурфа и подбежал к нему раньше, чем он успел броситься на конвойных. Оба конвоира приближались.

— Он заболел, — сказал я.

В это время донесся отдаленный, заглушенный дождем гудок, и мы стали строиться.

Мы работали с Розовским еще некоторое время вместе, пока он не бросился под груженую вагонетку, катившуюся с горы. Он сунул ногу под колесо, но вагонетка просто перескочила через него, и даже синяка не осталось. Тем не менее за покушение на самоубийство на него завели дело, он был судим, и мы расстались, ибо существует правило, что после суда осужденный никогда не направляется в то место, откуда он прибыл. Боятся мести под горячую руку — следовательно, свидетелям. Это мудрое правило. Но в отношении Розовского его можно было бы и не применять.

1958

КАНТ

Сопки были белые, с синеватым отливом, как сахарные головы. Круглые, безлесные, они были покрыты тонким слоем плотного снега, спрессованного ветрами. В ущельях снег был глубок и крепок — держал человека, а на склонах сопок он как бы вздувался огромными пузырями. Это были кусты стланика, распластавшегося по земле и улепшегося на зимнюю ночевку еще до первого снега. Они-то и были нам нужны.

Из всех северных деревьев я больше других любил стланик, кедрач.

Мне давно была понятна и дорога та завидная торопливость, с какой бедная северная природа стремилась поделиться с нищим, как и она, человеком своим нехитрым богатством: пропвести поскорее для него всеми цветами. В одну неделю, бывало, цвело все взапуски, и за какой-нибудь месяц с начала лета горы в лучах почти незаходящего солнца краснели от брусники, чернели от темно-синей голубики. На низкорослых кустах — и руку поднимать не надо — наливалась желтая крупная водянистая рябина. Медовый горный шиповник — его розовые лепестки были единственными цветами здесь, которые пахли как цветы, все остальные пахли только сыростью, болотом, и это было под стать весеннему безмолвию птиц, безмолвию лиственничного леса, где ветви медленно одевались зеленой хвоей. Шиповник берег плоды до самых морозов и из-под снега протягивал нам сморщенные мясистые ягоды, фиолетовая жесткая шкура которых скрывала сладкое темно-желтое мясо. Я знал веселость лоз, меняющих окраску весной много раз, — то темно-розовых, то оранжевых, то бледно-зеленых, будто обтянутых цветной лайкой. Лиственницы протягивали тонкие пальцы с зелеными ногтями, вездесущий жирный кипрей покрывал лесные пожарища. Все

это было прекрасно, доверчиво, шумно и торопливо, но все это было летом, когда матовая зеленая трава мешалась с муравчатым блеском замшелых, блестящих на солнце скал, которые вдруг оказывались не серыми, не коричневыми, а зелеными.

Зимой все это исчезало, покрытое рыхлым, жестким снегом, что ветры наметали в ущелья и утрамбовывали так, что для подъема в гору надо было вырубать в снегу ступеньки топором. Человек в лесу был виден за версту — так все было голо. И только одно дерево было всегда зелено, всегда живо — стланик, вечнозеленый кедроч. Это был предсказатель погоды. За два-три дня до первого снега, когда днем было еще по-осеннему жарко и безоблачно и о близкой зиме никому не хотелось думать, стланик вдруг растягивал по земле свои огромные, двухсаженные лапы, легко сгибал свой прямой черный ствол толщиной кулака в два и ложился плашмя на землю. Проходил день, другой, появлялось облачко, а к вечеру задувала метель и падал снег. А если поздней осенью собирались снеговые низкие тучи, дул холодный ветер, но стланик не ложился — можно было быть твердо уверенным, что снег не выпадет.

В конце марта, в апреле, когда весной еще и не пахло и воздух был по-зимнему разрежен и сух, стланик вокруг поднимался, стряхивая снег со своей зеленой, чуть рыжеватой одежды. Через день-два менялся ветер, теплые струи воздуха приносили весну.

Стланик был инструментом очень точным, чувствительным до того, что порой он обманывался, — он поднимался в оттепель, когда оттепель затягивалась. Перед оттепелью он не поднимался. Но еще не успело похолодать, как он снова торопливо укладывался в снег. Бывало и такое: разведешь с утра костер пожарче, чтобы в обед было где согреть ноги и руки, заложить побольше дров и уходишь на работу. Через два-три часа из-под снега протягивает ветви стланик и расправляется потихоньку, думая, что пришла весна. Еще не успел костер погаснуть, как стланик снова ложился в снег. Зима здесь двухцветна — бледно-синее высокое небо и белая земля. Весной обнажается грязно-желтое прошлогоднее осеннее тряпье, и долго-долго земля одета в этот нищенский убор, пока новая зелень не наберет силу и все не станет цвести — торопливо и бурно. И вот среди этой унылой весны, безжалостной зимы, ярко и ослепительно зеленея, сверкал стланик. К тому же на нем росли орехи — мелкие кедровые орехи. Это лакомство делили между собой люди, кедровки, медведи, белки и бурундуки.

Выбрав площадку с подветренной стороны сопки, мы натаскали сучьев, мелких и покрупнее, нарвали сухой травы на прометинах — голых местах горы, с которых ветер сорвал снег. Мы принесли с собой из барака несколько дымящихся головешек, взятых перед уходом на работу из топящейся печки, — спичек здесь не было.

Головешки носили в большой консервной банке с приделанной ручкой из проволоки, тщательно следя, чтобы головни не погасли дорогой. Вытащив головни из банки, обдув их и сложив тлеющие концы вместе, я раздул огонь и, положив головни на ветки, заложил костер — сухую траву и мелкие сучья. Все это было закрыто большими сучьями, и скоро синий дымок неуверенно потянулся по ветру.

Я никогда раньше не работал в бригадах, заготавливающих хвою стланика. Заготовка шла вручную, зеленые сухие иглы щипали, как перья у дичи, руками, захватывая побольше в горсть, набивали хвоей мешки и вечером сдавали выработку десятнику. Затем хвоя увозилась на таинственный витаминный комбинат, где из нее варили темно-желтый густой и вязкий экстракт непередаваемо противного вкуса. Этот экстракт нас заставляли пить или есть (кто как сумеет) перед каждым обедом. Вкусом экстракта был испорчен не только обед, но и ужин, и многие видели в этом лечении дополнительное средство лагерного воздействия. Без стопки этого лекарства в столовых нельзя было получить обед — за этим строго следили. Цинга была повсеместно, и стланик был единственным средством от цинги, одобренным медициной. Вера все превозмогает, и, хотя впоследствии была доказана полная несостоятельность этого «препарата» как противоцинготного средства и от него отказались, а витаминный комбинат закрыли, в наше время люди пили эту вонючую дрянь, отплеывались и выздоравливали от цинги. Или не выздоравливали.

Или не пили и выздоравливали. Везде по свету была тьма шиповника, но его никто не заготавливал, не использовал как противоцинготное средство — в московской инструкции ничего о шиповнике не говорилось. (Через несколько лет шиповник стали завозить с материка, но собственной заготовки, сколько мне известно, так никогда и не было налажено.)

Представителем витамина С инструкция считала только хвою стланика. Нынче я был заготовщиком этого драгоценного сырья — я ослабел и из золотого забоя был переведен щипать стланик.

— Походишь на стланик, — сказал утром нарядчик. — Дам тебе кант на несколько дней.

«Кант» — это широко распространенный лагерный термин. Обозначает он что-то вроде временного отдыха, не то что полный отдых (в таком случае говорят: он «припухает», «припух» на сегодня), а такую работу, при которой человек не выбивается из сил, легкую временную работу.

Работа на стланике считалась не только легкой — легчайшей работой, и притом она была бесконвойной.

После многих месяцев работы в обледенелых разрезах, где каждый замороженный до блеска камешек обжигает руки, после щелканья винтовочных затворов, лая собак и матерщины смотрителей за спиной

работа на стланике была огромным, ощущаемым каждым усталым мускулом удовольствием. На стланик посылали позже обычного развода на работу еще в темноте.

Хорошо было, грея руки о банку с дымящимися головешками, не спеша идти к сопкам, таким непостижимо далеким, как мне казалось раньше, и подниматься все выше и выше, все время ощущая как радостную неожиданность свое одиночество и глубокую зимнюю горную тишину, как будто все дурное в мире исчезло и есть только твой товарищ, и ты, и узкая темная бесконечная полоска в снегу, ведущая куда-то высоко, в горы.

Товарищ мой неодобрительно смотрел на мои медленные движения. Он уже давно ходил на стланик и справедливо предполагал во мне неумелого и слабого напарника. Работали парами, заработок был общий и делился пополам.

— Я буду рубить, а ты садись щипать, — сказал он. — И поживей ворочайся, а то мы не сделаем нормы. А идти отсюда снова в забой я не хочу.

Он нарубил стланиковых веток и приволок огромную кучу лап к костру. Я отламывал сучья поменьше и, начиная с вершины ветки, обдираю иголки вместе с корой. Они были похожи на зеленую бахрому.

— Надо быстрее, — сказал мой товарищ, возвращаясь с новой охапкой. — Плохо, брат!

Я и сам понимал, что плохо. Но я не мог работать быстрее. В ушах звенело, и отмороженные в начале зимы пальцы рук давно уже ныли знакомой тупой болью. Я драл иголки, ломал целые ветки на куски, не обдирая коры, и заталкивал добычу в мешок. Но мешок никак не хотел наполняться. Уже целая гора ободранных веток, похожих на обмытые кости, поднялась около костра, а мешок все раздувался и раздувался и принимал новые охапки стланика.

Товарищ стал помогать. Дело пошло быстрее.

— Пора домой, — сказал он вдруг. — А то к ужину опоздаем. На норму тут не хватит. — И, взяв из золы костра большой камень, он затолкал его в мешок. — Там не развязывают, — сказал он, хмурясь. — Теперь будет норма.

Я встал, раскидал горящие сучья в стороны и нагреб ногами снег на рдеющие угли. Костер зашипел, погас, и сразу стало холодно и ясно, что вечер близок. Товарищ помог мне взвалить на спину мешок. Я закачался под тяжестью.

— Волоком волоки, — сказал товарищ. — Вниз ведь тащить, не вверх.

Мы едва успели получить свой суп и чай. На этой легкой работе вторых блюд не полагалось.

СУХИМ ПАЙКОМ

Когда мы, все четверо, пришли на ключ Дусканья, мы так радовались, что почти не говорили друг с другом. Мы боялись, что наше путешествие сюда чья-то ошибка или чья-то шутка, что нас вернут назад в зловещие, залитые холодной водой — растаявшим льдом — каменные забои прииска. Казенные резиновые галоши, чуни, не спасали от холода наши многократно отмороженные ноги.

Мы шли по тракторным следам, как по следам какого-то доисторического зверя, но тракторная дорога кончилась, и по старой пешеходной тропинке, чуть заметной, мы дошли до маленького сруба с двумя прорезанными окнами и дверью, висящей на одной петле из куска автомобильной шины, укрепленного гвоздями. У маленькой двери была огромная деревянная ручка, похожая на ручку ресторанных дверей в больших городах. Внутри были голые нары из цельного накатника, на земляном полу валялась черная, закопченная консервная банка. Такие же банки, проржавевшие и пожелтевшие, валялись около крытого мхом маленького домика в большом количестве. Это была изба горной разведки; в ней никто не жил уже не один год. Мы должны были тут жить и рубить просеку — с нами были топоры и пилы.

Мы впервые получили свой продуктовый паек на руки. У меня был заветный мешочек с крупами, сахаром, рыбой, жирами. Мешочек был перевязан обрывками бечевки в нескольких местах так, как перевязывают сосиски. Сахарный песок и крупа двух сортов — ячневая и магар. У Савельева был точно такой же мешочек, а у Ивана Ивановича было целых два мешочка, сшитых крупной мужской сметкой. Наш четвертый — Федя Шапов — легкомысленно насыпал крупу в карманы бушлата, а сахарный песок завязал в портянку. Вырванный внутренний карман бушлата служил Феде кисетом, куда бережно складывались найденные окурки.

Десятидневные пайки выглядели пугающе: не хотелось думать, что все это должно быть поделено на целых тридцать частей — если у нас будет завтрак, обед и ужин, и на двадцать частей — если мы будем есть два раза в день. Хлеба мы взяли на два дня — его будет нам приносить десятник, ибо даже самая маленькая группа рабочих не может быть мыслима без десятника. Кто он — мы не интересовались вовсе. Нам сказали, что до его прихода мы должны подготовить жилище.

Всем нам надоела барачная еда, где всякий раз мы готовы были плакать при виде внесенных в барак на палках больших цинковых бачков с супом. Мы готовы были плакать от боязни, что суп будет жидким. И когда случалось чудо и суп был густой, мы не верили и, радуясь, ели его медленно-медленно. Но и после густого супа в потеплевшем желудке оставалась сосущая боль — мы голодали давно. Все человеческие

чувства — любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность — ушли от нас с тем мясом, которого мы лишились за время своего продолжительного голодания. В том незначительном мышечном слое, что еще оставался на наших костях, что еще давал нам возможность есть, двигаться, и дышать, и даже пилить бревна, и насыпать лопатой камень и песок в тачки, и даже возить тачки по нескончаемому деревянному трапу в золотом забое, по узкой деревянной дороге на промысловый прибор, в этом мышечном слое размещалась только злота — самое долговечное человеческое чувство

Савельев и я решили питаться каждый сам по себе. Приготовление пищи — арестантское наслаждение особого рода; ни с чем не сравнимое удовольствие приготовить пищу для себя, своими руками и затем есть, пусть сваренную хуже, чем бы это сделали умелые руки повара, — наши кулинарные знания были ничтожны, поварского умения не хватало даже на простой суп или кашу. И все же мы с Савельевым собирали банки, чистили их, обжигали на огне костра, что-то замачивали, кипятили, учась друг у друга.

Иван Иванович и Федя смешали свои продукты, Федя бережно вывернул карманы и, обследовав каждый шов, выгребал крупинки грязным обломанным ногтем.

Мы, все четверо, были отлично подготовлены для путешествия в будущее — хоть в небесное, хоть в земное. Мы знали, что такое научно обоснованные нормы питания, что такое таблица замены продуктов, по которой выходило, что ведро воды заменяет по калорийности сто граммов масла. Мы научились смирению, мы разучились удивляться. У нас не было гордости, себялюбия, самолюбия, а ревность и страсть казались нам марсианскими понятиями, и притом пустяками. Гораздо важнее было наловчиться зимой на морозе застегивать штаны — взрослые мужчины плакали, не умея подчас это сделать. Мы понимали, что смерть несколько не хуже, чем жизнь, и не боялись ни той, ни другой. Великое равнодушие владело нами. Мы знали, что в нашей воле прекратить эту жизнь хоть завтра, и иногда решались сделать это, и всякий раз мешали какие-нибудь мелочи, из которых состоит жизнь. То сегодня будут выдавать «ларек» — премиальный килограмм хлеба, — просто глупо было кончать самоубийством в такой день. То дневальный из соседнего барака обещал дать закурить вечером — отдать давнишний долг.

Мы поняли, что жизнь, даже самая плохая, состоит из смены радостей и горя, удач и неудач, и не надо бояться, что неудач больше, чем удач.

Мы были дисциплинированы, послушны начальникам. Мы понимали, что правда и ложь — родные сестры, что на свете тысячи правд...

Мы считали себя почти святыми, думая, что за лагерные годы мы искупили все свои грехи.

Мы научились понимать людей, предвидеть их поступки, разгадывать их.

Мы поняли — это было самое главное, — что наше знание людей ничего не дает нам в жизни полезного. Что толку в том, что я понимаю, чувствую, разгадываю, предвижу поступки другого человека? Ведь своего-то поведения по отношению к нему я изменить не могу, я не буду доносить на такого же заключенного, как я сам, чем бы он ни занимался. Я не буду добиваться должности бригадира, дающей возможность остаться в живых, ибо худшее в лагере — это навязывание своей (или чьей-то чужой) воли другому человеку, арестанту, как я. Я не буду искать полезных знакомств, давать взятки. И что толку в том, что я знаю, что Иванов — подлец, а Петров — шпион, а Заславский — лжесвидетель?

Невозможность пользоваться известными видами оружия делает нас слабыми по сравнению с некоторыми нашими соседями по лагерным нарам. Мы научились довольствоваться малым и радоваться малому.

Мы поняли также удивительную вещь: в глазах государства и его представителей человек физически сильный лучше, именно лучше, нравственнее, ценнее человека слабого, того, что не может выбросить из траншеи двадцать кубометров грунта за смену. Первый моральнее второго. Он выполняет «процент», то есть исполняет свой главный долг перед государством и обществом, а потому всеми уважается. С ним советуются и считаются, приглашают на совещания и собрания, по своей тематике далекие от вопросов выбрасывания тяжелого скользкого грунта из мокрых склизких канав.

Благодаря своим физическим преимуществам он обращается в моральную силу при решении ежедневных многочисленных вопросов лагерной жизни. Притом он — моральная сила до тех пор, пока он — сила физическая.

Афоризм Павла I: «В России знатен тот, с кем я говорю и пока я с ним говорю» — нашел свое неожиданно новое выражение в забоях Крайнего Севера.

Иван Иванович в первые месяцы своей жизни на прииске был передовым работягой. Сейчас он не мог понять, почему его теперь, когда он ослабел, все бьют походя — не больно, но бьют: дневальный, парикмахер, нарядчик, староста, бригадир, конвоир. Кроме должностных лиц, его бьют блатари. Иван Иванович был счастлив, что выбрался на эту лесную командировку.

Федя Щапов, алтайский подросток, стал доходягой раньше других потому, что его полудетский организм еще не окреп. Поэтому Федя держался недели на две меньше, чем остальные, скорее ослабел. Он был единственным сыном вдовы, и судили его за незаконный убой скота — единственной овцы, которую заколол Федя. Убий эти были запрещены законом. Федя получил десять лет, приисковая, торопливая, вовсе

не похожая на деревенскую, работа была ему тяжела. Федя восхищался привольной жизнью блатарей на приiske, но было в его натуре такое, что мешало ему сблизиться с ворами. Это здоровое крестьянское начало, природная любовь, а не отвращение к труду помогало ему немножко. Он, самый молодой среди нас, прилепился сразу к самому пожилому, к самому положительному — Ивану Ивановичу.

Савельев был студент Московского института связи, мой земляк по Бутырской тюрьме. Из камеры он, потрясенный всем виденным, написал письмо вождю партии, как верный комсомолец, уверенный, что до вождя не доходят такие сведения. Его собственное дело было настолько пустячным (переписка с собственной невестой), где свидетельством агитации (пункт десять пятьдесят восьмой статьи) были письма жениха и невесты друг другу; его «организация» (пункт одиннадцатый той же статьи) состояла из двух лиц. Все это самым серьезным образом записывалось в бланки допроса. Все же думали, что, кроме ссылки, даже по тогдашним масштабам, Савельев ничего не получит.

Вскоре после отсылки письма, в один из «заявительных» тюремных дней, Савельева вызвали в коридор и дали ему расписаться в извещении. Верховный прокурор сообщал, что лично будет заниматься рассмотрением его дела. После этого Савельева вызвали только один раз — вручить ему приговор особого совещания: десять лет лагерей.

В лагере Савельев «доплыл» очень быстро. Ему и до сих пор непонятна была эта зловещая расправа. Мы с ним не то что дружили, а просто любили вспоминать Москву — ее улицы, памятники, Москва-реку, подернутую тонким слоем нефти, отливающим перламутром. Ни Ленинград, ни Киев, ни Одесса не имеют таких поклонников, ценителей, любителей. Мы готовы были говорить о Москве без конца.

Мы поставили принесенную нами железную печку в избу и, хотя было лето, затопили ее. Теплый сухой воздух был необычайного, чудесного аромата. Каждый из нас привык дышать кислым запахом поношенного платья, пота — еще хорошо, что слезы не имеют запаха.

По совету Ивана Ивановича мы сняли белье и закопали его на ночь в землю, каждую рубашку и кальсоны порознь, оставив маленький кончик наружу. Это было народное средство против вшей, а на приiske в борьбе с ними мы были бессильны. Действительно, наутро вши собрались на кончиках рубах. Земля, покрытая вечной мерзлотой, все же оттаивала здесь летом настолько, что можно было закопать белье. Конечно, это была земля здешняя, в которой было больше камня, чем земли. Но и на этой каменной, оледенелой почве вырастали густые леса огромных лиственниц со стволами в три обхвата — такова была сила жизни деревьев, великий назидательный пример, который показывала нам природа.

Вшей мы сожгли, поднося рубаху к горящей головне из костра. Увы, этот остроумный способ не уничтожил гнид, и в тот же день мы долго и яростно варили белье в больших консервных банках — на этот раз дезинфекция была надежной.

Чудесные свойства земли мы узнали позднее, когда ловили мышей, ворон, чак, белок. Мясо любых животных теряет свой специфический запах, если его предварительно закапывать в землю.

Мы позаботились о том, чтобы поддерживать неугасимый огонь, — ведь у нас было только несколько спичек, хранившихся у Ивана Ивановича. Он замотал драгоценные спички в кусочек брезента и в тряпки самым тщательным образом.

Каждый вечер мы складывали вместе две головни, и они тлели до утра, не потухая и не сгорая. Если бы головней было три, они сгорели бы. Этот закон я и Савельев знали со школьной скамьи, а Иван Иванович и Федя знали с детства, из дома. Утром мы раздували головни, вспыхивал желтый огонь, и на разгоревшийся костер мы наваливали бревно потолще...

Я разделил крупу на десять частей, но это оказалось слишком страшно. Операция по насыщению пятью хлебами пяти тысяч человек была, вероятно, легче и проще, чем арестанту разделить на тридцать порций свой десятидневный паек. Пайки, карточки были всегда декадные. На материке давно уже играли отбой по части всяких «пятнадцатых», «декадок», «непрерывок», но здесь десятичная система держалась гораздо тверже. Никто здесь не считал воскресенье праздником — дни отдыха для заключенных, введенные много позже нашего житья-бытья на лесной командировке, были три раза в месяц по произволу местного начальства, которому дано было право использовать дни дождливые летом или слишком холодные зимой для отдыха заключенных в счет выходных.

Я смешал крупу снова, не выдержав этой новой муки. Я попросил Ивана Ивановича и Федю принять меня в компанию и сдал свои продукты в общий котел. Савельев последовал моему примеру.

Сообща мы, все четверо, приняли мудрое решение: варить два раза в день — на три раза продуктов решительно не хватало.

— Мы будем собирать ягоды и грибы, — сказал Иван Иванович. — Ловить мышей и птиц. И день-два в декаде жить на одном хлебе.

— Но если мы будем голодать день-два перед получением продуктов, — сказал Савельев, — как удержаться, чтобы не съесть лишнего, когда привезут приварок?

Решили есть два раза в день во что бы то ни стало и, в крайнем случае, разводить пожиже. Ведь тут у нас никто не украдет, мы получили все полностью по норме: тут у нас нет пьяниц-поваров, вороватых кладовщиков, нет жадных надзирателей, воров, вырывающих лучшие продукты, — всего бесконечного начальства, объедающего, обираю-

щего заключенных без всякого контроля, без всякого страха, без всякой совести.

Мы получили полностью свои жиры в виде комочка гидрожира, сахарный песок — меньше, чем я намывал лотком золотого песка, хлеб — липкий, вязкий хлеб, над выпечкой которого трудились великие, неподражаемые мастера привеса, кормившие и начальство пекарен. Крупа двадцати наименований, вовсе не известных нам в течение всей нашей жизни: магар, пшеничная сечка — все это было чересчур загадочно. И страшно.

Рыба, заменившая по таинственным табличкам замены мясо, — ржавая селедка, обещавшая возместить усиленный расход наших белков.

Увы, даже полученные полностью нормы не могли питать, насыщать нас. Нам было надо втрое, вчетверо больше — организм каждого голодал давно. Мы не понимали тогда этой простой вещи. Мы верили нормам — и известное поварское наблюдение, что легче варить на двадцать человек, чем на четверых, не было нам известно. Мы понимали только одно совершенно ясно: что продуктов нам не хватит. Это нас не столько пугало, сколько удивляло. Надо было начинать работать, надо было пробивать бурелом просекой.

Деревья на Севере умирают лежа, как люди. Огромные обнаженные корни их похожи на когти исполинской хищной птицы, вцепившейся в камень. От этих гигантских когтей вниз, к вечной мерзлоте, тянулись тысячи мелких щупалец, беловатых отростков, покрытых коричневой теплой корой. Каждое лето мерзлота чуть-чуть отступала, и в каждый вершок оттаявшей земли немедленно вонзалось и укреплялось там тончайшими волосками щупальце — корень. Лиственницы достигали зрелости в триста лет, медленно поднимая свое тяжелое, мощное тело на своих слабых, распластанных вдоль по каменистой земле корнях. Сильная буря легко валила слабые на ногах деревья. Лиственницы падали навзничь, головами в одну сторону, и умирали, лежа на мягком толстом слое мха — ярко-зеленом и ярко-розовом.

Только крученые, верченые, низкорослые деревья, измученные поворотами за солнцем, за теплом, держались крепко в одиночку, далеко друг от друга. Они так долго вели напряженную борьбу за жизнь, что их истерзанная, измятая древесина никуда не годилась. Короткий суковатый ствол, обвитый страшными наростами, как лубками каких-то переломов, не годился для строительства даже на Севере, нетребовательном к материалу для возведения зданий. Эти крученые деревья и на дрова не годились — своим сопротивлением топору они могли измучить любого рабочего. Так они мстили всему миру за свою изломанную Севером жизнь.

Нашей задачей была просека, и мы смело приступили к работе. Мы пилили от солнца до солнца, валили, раскряжевывали и сносили в шта-

беля. Мы забыли обо всем, мы хотели здесь остаться подольше, мы боялись золотых забоев. Но штабеля росли слишком медленно, и к концу второго напряженного дня выяснилось, что сделали мы мало, больше сделать не в силах. Иван Иванович сделал метровую мерку, отмерив пять своих четвертей на срубленной молодой десятилетней лиственнице.

Вечером пришел десятник, смерил нашу работу своим посошком с зарубками и покачал головой. Мы сделали десять процентов нормы!

Иван Иванович что-то доказывал, замерял, но десятник был непреклонен. Он бормотал про какие-то «фесметры», про дрова «в плотном теле» — все это было выше нашего понимания. Ясно было одно: мы будем возвращены в лагерную зону, опять войдем в ворота с обязательной, официальной, казенной надписью: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Говорят, что на воротах немецких лагерей выписывалась цитата из Ницше: «Каждому свое». Подражая Гитлеру, Берия превзошел его в циничности.

Лагерь был местом, где учили ненавидеть физический труд, ненавидеть труд вообще. Самой привилегированной группой лагерного населения были блатари — не для них ли труд был геройством и доблестью?

Но мы не боялись. Более того, признание десятником безнадежности нашей работы, ничемности наших физических качеств принесло нам небывалое облегчение, вовсе не огорчая, не пугая.

Мы плыли по течению, и мы «доплывали», как говорят на лагерном языке. Нас ничто уже не волновало, нам жить было легко во власти чужой воли. Мы не заботились даже о том, чтобы сохранить жизнь, и если и спали, то тоже подчиняясь приказу, распорядку лагерного дня. Душевное спокойствие, достигнутое притупленностью наших чувств, напоминало о «высшей свободе казармы», о которой мечтал Лоуренс, или о толстовском непротивлении злу — чужая воля всегда была на страже нашего душевного спокойствия.

Мы давно стали фаталистами, мы не рассчитывали нашу жизнь далее как на день вперед. Логичным было бы съесть все продукты сразу и уйти обратно, отсидеть положенный срок в карцере и выйти на работу в забой, но мы и этого не сделали. Всякое вмешательство в судьбу, в волю богов было неприличным, противоречило кодексам лагерного поведения.

Десятник ушел, а мы остались рубить просеку, ставить новые штабеля, но уже с большим спокойствием, с большим безразличием. Теперь мы уже не ссорились, кому становиться под комель бревна, а кому под вершину, при переноске их в штабеля — трелевке, как это называется по-лесному.

Мы больше отдыхали, больше обращали внимание на солнце, на лес, на бледно-синее высокое небо. Мы филонили.

Утром мы с Савельевым кое-как свалили огромную черную лиственницу, чудом выстоявшую бурю и пожар. Мы бросили пилу прямо на траву, пила зазвенела о камни, и сели на ствол поваленного дерева.

— Вот, — сказал Савельев. — Помечтаем. Мы выживем, уедем на материк, быстро состаримся и будем больными стариками: то сердце будет колоть, то ревматические боли не дадут покоя, то грудь заболит; все, что мы сейчас делаем, как мы живем в молодые годы — бессонные ночи, голод, тяжелая многочасовая работа, золотые забои в ледяной воде, холод зимой, побои конвоиров, все это не пройдет бесследно для нас, если даже мы и останемся живы. Мы будем болеть, не зная причины болезни, стонать и ходить по амбулаториям. Непосильная работа нанесла нам непоправимые раны, и вся наша жизнь в старости будет жизнью боли, бесконечной и разнообразной физической и душевной боли. Но среди этих страшных будущих дней будут и такие дни, когда нам будет дышаться легче, когда мы будем почти здоровы и страдания наши не станут тревожить нас. Таких дней будет немного. Их будет столько, сколько дней каждый из нас сумел профилонить в лагере.

— А честный труд? — сказал я.

— К честному труду в лагере призывают подлецы и те, которые нас бьют, калечат, съедают нашу пищу и заставляют работать живые скелеты — до самой смерти. Это выгодно им — этот «честный» труд. Они верят в его возможность еще меньше, чем мы.

Вечером мы сидели вокруг нашей милой печки, и Федя Щапов внимательно слушал хриплый голос Савельева.

— Ну, отказался от работы. Составили акт — одет по сезону...

— А что это значит — «одет по сезону»? — спросил Федя.

— Ну, чтобы не перечислять все зимние или летние вещи, что на тебе надеты. Нельзя ведь писать в зимнем акте, что послали на работу без бушлата или без рукавиц. Сколько раз ты оставался дома, когда рукавиц не было?

— У нас не оставляли, — робко сказал Федя. — Начальник дорогу топтать заставлял. А то бы это называлось: остался «по раздетости».

— Вот-вот.

— Ну, расскажи про метро.

И Савельев рассказывал Феде о московском метро. Нам с Иваном Ивановичем было тоже интересно послушать Савельева. Он знал такие вещи, о которых я, москвич, и не догадывался.

— У магометан, Федя, — говорил Савельев, радуясь, что мозг его еще подвижен, — на молитву скликает муэдзин с минарета. Магомет выбрал голос призывом-сигналом к молитве. Все перепробовал Магомет: трубу, игру на тамбурине, сигнальный огонь — все было отвергнуто Магометом... Через полторы тысячи лет на испытании сигнала к поездам метро выяснилось, что ни свисток, ни гудок, ни сирена не улавливаются человеческим ухом, ухом машиниста метро, с той безусловностью и

точностью, как улавливается живой голос дежурного отправителя, кричащего: «Готово!»

Федя восторженно ахал. Он был более всех нас приспособлен для лесной жизни, более опытен, несмотря на свою юность, чем любой из нас. Федя мог плотничать, мог срубить немудрящую избушку в тайге, знал, как завалить дерево и укрепить ветвями место ночевки. Федя был охотник — в его краях к оружию привыкали с детских лет. Холод и голод свели все Федины достоинства на нет, земля пренебрегала его знаниями, его умением. Федя не завидовал горожанам, он просто преклонялся перед ними, и рассказы о достижениях техники, о городских чудесах он готов был слушать без конца, несмотря на голод.

Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде. Те «трудные» условия жизни, которые, как говорят нам сказки художественной литературы, являются обязательным условием возникновения дружбы, просто недостаточно трудны. Если беда и нужда сплотили, родили дружбу людей — значит, это нужда не крайняя и беда не большая. Горе недостаточно остро и глубоко, если можно разделить его с друзьями. В настоящей нужде познается только своя собственная душевная и телесная крепость, определяются пределы своих возможностей, физической выносливости и моральной силы.

Мы все понимали, что выжить можно только случайно. И, странное дело, когда-то в молодости моей у меня была поговорка при всех неудачах и провалах: «Ну, с голоду не умрем». Я был уверен, всем телом уверен в этой фразе. И я в тридцать лет оказался в положении человека, умирающего с голоду по-настоящему, дерущегося из-за куска хлеба буквально, — и все это задолго до войны.

Когда мы вчетвером собрались на ключе Дусканья, мы знали все, что не для дружбы собрались мы сюда; мы знали, что, выжив, мы неохотно будем встречаться друг с другом. Нам будет неприятно вспоминать плохое: сводящий с ума голод, выпаривание вшей в обеденных наших котелках, безудержное вранье у костра, вранье-мечтанье, гастрономические басни, ссоры друг с другом и одинаковые наши сны, ибо мы все видели во сне одно и то же: пролетающие мимо нас, как болиды или как ангелы, буханки ржаного хлеба.

Человек счастлив своим умением забывать. Память всегда готова забыть плохое и помнить только хорошее. Хорошего не было на ключе Дусканья, не было его ни впереди, ни позади путей каждого из нас. Мы были отравлены Севером навсегда, и мы это понимали. Трое из нас перестали сопротивляться судьбе, и только Иван Иванович работал с тем же трагическим старанием, как и раньше.

Савельев пробовал урезонить Ивана Ивановича во время одного из перекуров. Перекур — это самый обыкновенный отдых, отдых для некурящих, ибо махорки у нас не один год не было, а перекуры были. В тайге любители курения собирали и сушили листья черной смородины, и

были целые дискуссии, по-арестантски страстные, на тему: брусничный или смородинный лист вкуснее. Ни тот, ни другой никуда не годился, по мнению знатоков, ибо организм требовал никотинного яда, а не дыма, и обмануть клетки мозга таким простым способом было нельзя. Но для перекуров-отдыхов смородинный лист годился, ибо в лагере слово «отдых» во время работы слишком однозвучно и идет вразрез с теми основными правилами производственной морали, которые воспитываются на Дальнем Севере. Отдыхать через каждый час — это вызов, это и преступление, но ежечасная перекурка — в порядке вещей. Так и здесь, как и во всем на Севере, явления не совпадали с правилами. Сушенный смородинный лист был естественным камуфляжем.

— Послушай, Иван, — сказал Савельев. — Я расскажу тебе одну историю. В Бамлаге на вторых путях мы возили песок на тачках. Откатка дальняя, норма двадцать пять кубометров. Меньше полноремы сделаешь — штрафной паек: триста граммов и баланда один раз в день. А тот, кто сделает норму, получает килограмм хлеба, кроме приварка, да еще в магазине имеет право за наличные купить килограмм хлеба. Работали попарно. А нормы немислимые. Так мы словчили так: сегодня катаем на тебя вдвоем из твоего забоя. Выкатаем норму. Получаем два килограмма хлеба да триста граммов штрафных моих — каждому достается кило сто пятьдесят. Завтра работаем на меня. Потом снова на тебя. Целый месяц так катали. Чем не жизнь? Главное, десятник был душа — он, конечно, знал. Ему было даже выгодно — люди не очень слабели, выработка не уменьшалась. Потом кто-то из начальства разоблачил эту штуку, и кончилось наше счастье.

— Что ж, хочешь здесь попробовать? — сказал Иван Иванович.

— Я не хочу, а просто мы тебе поможем.

— А вы?

— Нам, милый, все равно.

— Ну, и мне все равно. Пусть приходит сотский. Сотский, то есть десятник, пришел через несколько дней. Худшие опасения наши сбылись.

— Ну, отдохнули, пора и честь знать. Дать место другим. Работа ваша вроде оздоровительного пункта или оздоровительной команды, как ОП и ОК, — важно пошутил десятник.

— Да, — сказал Савельев, —

Сначала ОП, потом ОК,
На ногу бирку и — пока!

Посмеялись для приличия.

— Когда обратно-то?

— Да завтра и пойдем.

Иван Иванович успокоился. Он повесился ночью в десяти шагах от избы в развилке дерева, без всякой веревки — таких самоубийств мне

еще не приходилось видеть. Нашел его Савельев, увидел с тропы и закричал. Подбежавший десятник не велел снимать тела до прихода «оперативки» и заторопил нас.

Федя Шапов и я собирались в великом смущении — у Ивана Ивановича были хорошие, еще целые портянки, мешочки, полотенце, запасная бязевая нижняя рубашка, из которой Иван Иванович уже выварил вшей, чиненные ватные бурки, на нарах лежала его телогрейка. После краткого совещания мы взяли все эти вещи себе. Савельев не участвовал в дележе одежды мертвеца — он все ходил около тела Ивана Ивановича. Мертвое тело всегда и везде на воле вызывает какой-то смутный интерес, притягивает, как магнит. Этого не бывает на войне и не бывает в лагере — обыденность смертей, притупленность чувств снимает интерес к мертвому телу. Но у Савельева смерть Ивана Ивановича затронула, осветила, потревожила какие-то темные уголки души, толкнула его на какие-то решения.

Он вошел в избушку, взял из угла топор и перешагнул порог. Десятник, сидевший на завалинке, вскочил и заорал непонятное что-то. Мы с Федей выскочили во двор.

Савельев подошел к толстому, короткому бревну лиственницы, на котором мы всегда пилили дрова, — бревно было изрезано, кора сколота. Он положил левую руку на бревно, растопырил пальцы и взмахнул топором.

Десятник закричал визгливо и пронзительно. Федя бросился к Савельеву — четыре пальца отлетели в опилки, их не сразу даже видно было среди веток и мелкой щепы. Алая кровь била из пальцев. Федя и я разорвали рубашку Ивана Ивановича, затащили жгут на руке Савельева, завязали рану.

Десятник увел всех нас в лагерь. Савельева — в амбулаторию для перевязки, в следственный отдел — для начала дела о членовредительстве, Федя и я вернулись в ту самую палатку, откуда две недели назад мы выходили с такими надеждами и ожиданием счастья.

Места наши на верхних нарах были уже заняты другими, но мы не заботились об этом — сейчас лето, и на нижних нарах было, пожалуй, даже лучше, чем на верхних, а пока придет зима, будет много, много перемен.

Я заснул быстро, а в середине ночи проснулся и подошел к столу дежурного дневального. Там примостился Федя с листком бумаги в руке. Через его плечо я прочел написанное.

«Мама, — писал Федя, — мама, я живу хорошо. Мама, я одет по сезону...»

ИНЖЕКТОР

*Начальнику прииска тов. А. С. Королеву
от начальника участка «Золотой ключ»
Кудинова А. В.*

РАПОРТ

Согласно Вашему распоряжению о предоставлении объяснений по поводу шестичасового простоя 4 бригады з/к з/к, имевшего место 12 ноября с. г. на участке «Золотой ключ» вверенного Вам прииска, доношу:

Температура воздуха утром была свыше пятидесяти градусов. Наш градусник сломан дежурным надзирателем, о чем я докладывал вам. Однако определить температуру было можно, потому что плевок замерзал на лету.

Бригада была выведена своевременно, но к работе приступить не могла из-за того, что у бойлера, которым обслуживается наш участок и разогревается мерзлый грунт, вовсе отказался работать инжектор. О плохой работе инжектора я неоднократно ставил в известность главного инженера, но мер никаких не принимается, и инжектор вовсе разболтался. Заменять его в данное время главный инженер не хочет.

Плохая работа инжектора вызвала неподготовленность грунта, и бригаду пришлось держать несколько часов без работы. Греться у нас негде, а костров раскладывать не разрешают. Отправить же бригаду обратно в барак не разрешает конвой.

Я уже всюду, куда только можно, писал, что с таким инжектором я работать больше не могу. Он уже пять дней работал безобразно, а ведь от него зависит выполнение плана всего участка. Мы не можем с ним справиться, а главный инженер не обращает внимания, а только требует кубики.

К сему начальник участка «Золотой ключ» горный инженер

А. Кудинов.

Наискось рапорта четким почерком выписано:

1) За отказ от работы в течение пяти дней, вызвавший срыв производства и простои на участке, з/к Инжектора арестовать на трое суток без выхода на работу, водворив его в роту усиленного режима. Дело передать в следственные органы для привлечения з/к Инжектора к законной ответственности.

2) Главному инженеру Гореву ставлю на вид отсутствие дисциплины на производстве. Предлагаю заменить з/к Инжектора вольнонаемным.

Начальник прииска

Александр Королев.

АПОСТОЛ ПАВЕЛ

Когда я вывихнул ступню, сорвавшись в шурфе со скользкой лестницы из жердей, начальству стало ясно, что я прохромаю долго, и так как без дела сидеть было нельзя, меня перевели помощником к нашему столяру Адаму Фризоргеру, чему мы оба — и Фризоргер и я — были очень рады.

В своей первой жизни Фризоргер был пастором в каком-то немецком селе близ Марксштадта на Волге. Мы встретились с ним на одной из больших пересылок во время тифозного карантина и вместе приехали сюда, в угольную разведку. Фризоргер, как и я, уже побывал в тайге, побывал и в доходягах и полусумасшедшим попал с прииска на пересылку. Нас отправили в угольную разведку как инвалидов, как обслугу — рабочие кадры разведки были укомплектованы только вольнонаемными. Правда, это были вчерашние заключенные, только что отбывшие свой «гермин», или срок, и называвшиеся в лагере полупрезрительным словом «вольняшки». Во время нашего переезда у сорока человек этих вольнонаемных едва нашлось два рубля, когда понадобилось кушить махорку, но все же это был уже не наш брат. Все понимали, что пройдет два-три месяца, и они приоденутся, могут вышить, паспорт получат, может быть, даже через год уедут домой. Тем ярче были эти надежды, что Парамонов, начальник разведки, обещал им огромные заработки и полярные пайки. «В цилиндрах домой поедете», — постоянно твердил им начальник. С нами же, арестантами, разговоров о цилиндрах и полярных пайках не заводилось.

Впрочем, он и не грубил нам. Заключенных ему в разведку не давали, и пять человек в обслугу — это было все, что Парамонову удалось выпросить у начальства.

Когда нас, еще не знавших друг друга, вызвали из бараков по списку и доставили пред его светлые и проницательные очи, он остался весьма доволен опросом. Один из нас был печник, седоусый остряк ярославец Изгибин, не потерявший природной бойкости и в лагере. Мастерство ему давало кое-какую помощь, и он не был так истощен, как остальные. Вторым был одноглазый гигант из Каменец-Подольска — «паровозный кочегар», как он отрекомендовался Парамонову.

— Слесарить, значит, можешь маленько, — сказал Парамонов.

— Могу, могу, — охотно подтвердил кочегар. Он давно сообразил всю выгодность работы в вольнонаемной разведке.

Третьим был агроном Рязанов. Такая профессия привела в восторг Парамонova. На рваное тряпье, в которое был одет агроном, не было обращено, конечно, никакого внимания. В лагере не встречают людей по одежке, а Парамонов достаточно знал лагерь.

Четвертым был я. Я не был ни печником, ни слесарем, ни агрономом. Но мой высокий рост, по-видимому, успокоил Парамонова, да и не стоило возиться с исправлением списка из-за одного человека. Он кивнул головой.

Но наш пятый повел себя очень странно. Он бормотал слова молитвы и закрывал лицо руками, не слыша голоса Парамонова. Но и это начальнику не было внове. Парамонов повернулся к нарядчику, стоявшему тут же и державшему в руках желтую стопку скоросшивателей — так называемых «личных дел».

— Это столяр, — сказал нарядчик, угадывая вопрос Парамонова. Прием был закончен, и нас увезли в разведку.

Фризоргер после рассказывал мне, что, когда его вызвали, он думал, что его вызывают на расстрел, так его запугал следователь еще на прииске. Мы жили с ним целый год в одном бараке, и не было случая, чтобы мы поругались друг с другом. Это редкость среди арестантов и в лагере, и в тюрьме. Ссоры возникают по пустякам, мгновенно ругань достигает такого градуса, что кажется — следующей ступенью может быть только нож или, в лучшем случае, какая-нибудь кочерга. Но я быстро научился не придавать большого значения этой пышной ругани. Жар быстро спадал, и если оба продолжали еще долго лениво отругиваться, то это делалось больше для порядка, для сохранения «лица».

Но с Фризоргером я не ссорился ни разу. Я думаю, что в этом была заслуга Фризоргера, ибо не было человека мирнее его. Он никого не оскорблял, говорил мало. Голос у него был старческий, дребезжащий, но какой-то искусственно, подчеркнuto дребезжащий. Таким голосом говорят в театре молодые актеры, играющие стариков. В лагере многие стараются (и небезуспешно) показать себя старше и физически слабее, чем на самом деле. Все это делается не всегда с сознательным расчетом, а как-то инстинктивно. Ирония жизни здесь в том, что большая половина людей, прибавляющих себе лета и убавляющих силы, дошли до состояния еще более тяжелого, чем они хотят показать.

Но ничего притворного не было в голосе Фризоргера.

Каждое утро и вечер он неслышно молился, отвернувшись от всех в сторону и глядя в пол, а если и принимал участие в общих разговорах, то только на религиозные темы, то есть очень редко, ибо арестанты не любили религиозных тем. Старый похабник, милейший Изгибин, пробовал было подсмеиваться над Фризоргером, но остроты его были встречены такой мирной улыбочкой, что изгибинский жар шел вхолостую. Фризоргера любила вся разведка и даже сам Парамонов, которому Фризоргер сделал замечательный письменный стол, проработав над ним, кажется, полгода.

Наши койки стояли рядом, мы часто разговаривали, и иногда Фризоргер удивлялся, по-детски взмахивая небольшими ручками, встретив у меня знание каких-либо популярных евангельских историй — мате-

риал, который он по простоте душевной считал достоянием только узкого круга религиозников. Он хихикал и очень был доволен, когда я обнаруживал подобные познания. И, воодушевившись, принимался рассказывать мне то евангельское, что я помнил нетвердо или чего я не знал вовсе. Очень ему нравилась эти беседы.

Но однажды, перечисляя имена двенадцати апостолов, Фризоргер ошибся. Он назвал имя апостола Павла. Я, который со всей самоуверенностью невежды считал всегда апостола Павла действительным создателем христианской религии, ее основным теоретическим вождем, знал немного биографию этого апостола и не упустил случая поправить Фризоргера.

— Нет, нет, — сказал Фризоргер, смеясь, — вы не знаете, вот. — И он стал загибать пальцы. — Питер, Пауль, Маркус...

Я рассказал ему все, что знал об апостоле Павле. Он слушал меня внимательно и молчал. Было уже поздно, пора было спать. Ночью я проснулся и в мерцающем, дымном свете коптилки увидел, что глаза Фризоргера открыты, и услышал шепот: «Господи, помоги мне! Питер, Пауль, Маркус...» Он не спал до утра. Утром он ушел на работу рано, а вечером пришел поздно, когда я уже заснул. Меня разбудил тихий старческий плач. Фризоргер стоял на коленях и молился.

— Что с вами? — спросил я, дождавшись конца молитвы.

Фризоргер нашел мою руку и пожал ее.

— Вы правы, — сказал он. — Пауль не был в числе двенадцати апостолов. Я забыл про Варфоломея.

Я молчал.

— Вы удивляетесь моим слезам? — сказал он. — Это слезы стыда. Я не мог, не должен был забывать такие вещи. Это грех, большой грех. Мне, Адаму Фризоргеру, указывает на мою непростительную ошибку чужой человек. Нет, нет, вы ни в чем не виноваты — это я сам, это мой грех. Но это хорошо, что вы поправили меня. Все будет хорошо.

Я едва успокоил его, и с той поры (это было незадолго до вывиха ступни) мы стали еще большими друзьями.

Однажды, когда в столярной мастерской никого не было, Фризоргер достал из кармана засаленный матерчатый бумажник и поманил меня к окну.

— Вот, — сказал он, протягивая мне крошечную обломанную фотографию — «моменталку». Это была фотография молодой женщины, с каким-то случайным, как на всех снимках «моменталок», выражением лица. Пожелтевшая, потрескавшаяся фотография была бережно обклеена цветной бумажкой.

— Это моя дочь, — сказал Фризоргер торжественно. — Единственная дочь. Жена моя давно умерла. Дочь не пишет мне, правда, адреса не знает, наверно. Я писал ей много и теперь пишу. Только ей. Я никому

не показываю этой фотографии. Это из дому везу. Шесть лет назад я ее взял с комода.

В дверь мастерской бесшумно вошел Парамонов.

— Дочь, что ли? — сказал он, быстро оглядев фотографию.

— Дочь, гражданин начальник, — сказал Фризоргер, улыбаясь.

— Пишет?

— Нет.

— Чего ж она старика забыла? Напиши мне заявление о розыске, я отошлю. Как твоя нога?

— Хромаю, гражданин начальник.

— Ну, хромай, хромай. — Парамонов вышел.

С этого времени, уже не таясь от меня, Фризоргер, окончив вечернюю молитву и улепшись на койку, доставал фотографию дочери и поглаживал цветной ободочек.

Так мы мирно жили около полугода, когда однажды привезли почту. Парамонов был в отъезде, и почту принимал его секретарь из заключенных Рязанов, который оказался вовсе не агрономом, а каким-то эсперантистом, что, впрочем, не мешало ему ловко снимать шкуры с павших лошадей, гнуть толстые железные трубы, наполняя их песком и раскаляя на костре, и вести всю канцелярию начальника.

— Смотри-ка, — сказал он мне, — какое заявление на имя Фризоргера прислали.

В пакете было казенное отношение с просьбой познакомить заключенного Фризоргера (статья, срок) с заявлением его дочери, копия которого прилагалась. В заявлении она коротко и ясно писала, что, убедившись в том, что отец является врагом народа, она отказывается от него и просит считать родство не бывшим.

Рязанов повертел в руках бумажку.

— Экая пакость, — сказал он. — Для чего ей это нужно? В партию, что ли, вступает?

Я думал о другом: для чего пересылать отцу-арестанту такие заявления? Есть ли это вид своеобразного садизма, вроде практиковавшихся извещений родственникам о мнимой смерти заключенного, или просто желание выполнить все по закону? Или еще что?

— Слушай, Ванюшка, — сказал я Рязанову. — Ты регистрировал почту?

— Где же, только сейчас пришла.

— Отдай-ка мне этот пакет. — И я рассказал Рязанову, в чем дело.

— А письмо? — сказал он неуверенно. — Она ведь напишет, наверное, и ему.

— Письмо ты тоже удержишь.

— Ну бери.

Я скомкал пакет и бросил его в открытую дверцу топящейся печки.

Через месяц пришло и письмо, такое же короткое, как и заявление, и мы его сожгли в той же самой печке.

Вскоре меня куда-то увезли, а Фризоргер остался, и как он жил дальше — я не знаю. Я часто вспоминал его, пока были силы вспоминать. Слышал его дрожащий, взволнованный шепот: «Питер, Пауль, Маркус...»

<1954>

ЯГОДЫ

Фадеев сказал:

— Подожди-ка, я с ним сам поговорю, — подошел ко мне и поставил приклад винтовки около моей головы.

Я лежал в снегу, обняв бревно, которое я уронил с плеча и не мог поднять и занять свое место в цепочке людей, спускающихся с горы, — у каждого на плече было бревно, «палка дров», у кого побольше, у кого поменьше: все торопились домой, и конвоиры и заключенные, всем хотелось есть, спать, очень надоел бесконечный зимний день. А я — лежал в снегу.

Фадеев всегда говорил с заключенными на «вы».

— Слушайте, старик, — сказал он, — быть не может, чтобы такой лоб, как вы, не мог нести такого полена, палочки, можно сказать. Вы явный симулянт. Вы фашист. В час, когда наша родина сражается с врагом, вы суете ей палки в колеса.

— Я не фашист, — сказал я, — я больной и голодный человек. Это ты фашист. Ты читаешь в газетах, как фашисты убивают стариков. Подумай о том, как ты будешь рассказывать своей невесте, что ты делал на Кольме.

Мне было все равно. Я не выносил розовощеких, здоровых, сытых, хорошо одетых, я не боялся. Я согнулся, защищая живот, но и это было прародительским, инстинктивным движением — я вовсе не боялся ударов в живот. Фадеев ударил меня сапогом в спину. Мне стало внезапно тепло, а совсем не больно. Если я умру — тем лучше.

— Послушайте, — сказал Фадеев, когда повернул меня лицом к небу носками своих сапог. — Не с первым с вами я работаю и повидал вашего брата.

Подошел другой конвоир — Серошанка.

— Ну-ка, покажись, я тебя запомню. Да какой ты злой да некрасивый. Завтра я тебя пристрелю собственноручно. Понял?

— Понял, — сказал я, поднимаясь и сплевывая соленую кровавую слюну.

Я поволок бревно волоком под улюлюканье, крик, ругань товарищей — они замерзли, пока меня били.

На следующее утро Серошапка вывел нас на работу — в вырубленный еще прошлой зимой лес собирать все, что можно сжечь зимой в железных печах. Лес валили зимой — пеньки были высокие. Мы вырывали их из земли вагами-рычагами, пилили и складывали в штабеля.

На редких уцелевших деревьях вокруг места нашей работы Серошапка развесил вешки, связанные из желтой и серой сухой травы, очертив этими вешками запретную зону.

Наш бригадир развел на пригорке костер для Серошапки — костер на работе полагался только конвою, — натаскал дров в запас.

Выпавший снег давно разнесло ветрами. Стылая заиндеветшая трава скользила в руках и меняла цвет от прикосновения человеческой руки. На кочках леденел невысокий горный шиповник, темно-лиловые замороженные ягоды были аромата необычайного. Еще вкуснее шиповника была брусника, тронутая морозом, перезревшая, сизая... На коротеньких прямых веточках висели ягоды голубики — яркого синего цвета, сморщенные, как пустой кожаный кошелек, но хранившие в себе темный, иссиня-черный сок неизреченного вкуса.

Ягоды в эту пору, тронутые морозом, вовсе не похожи на ягоды зрелости, ягоды сочной поры. Вкус их гораздо тоньше.

Рыбаков, мой товарищ, набирал ягоды в консервную банку в наш перекур и даже в те минуты, когда Серошапка смотрел в другую сторону. Если Рыбаков наберет полную банку, ему повар отряда охраны даст хлеба. Предприятие Рыбакова сразу становилось важным делом.

У меня не было таких заказчиков, и я ел ягоды сам, бережно и жадно прижимая языком к нёбу каждую ягоду — сладкий душистый сок раздавленной ягоды дурманял меня на секунду.

Я не думал о помощи Рыбакову в сборе, да и он не захотел бы такой помощи — хлебом пришлось бы делиться.

Баночка Рыбакова наполнялась слишком медленно, ягоды становились все реже и реже, и незаметно для себя, работая и собирая ягоды, мы придвинулись к границам зоны — вешки повисли над нашей головой.

— Смотри-ка, — сказал я Рыбакову, — вернемся.

А впереди были кочки с ягодами шиповника, и голубики, и брусники... Мы видели эти кочки давно. Дереву, на котором висела вешка, надо было стоять на два метра подальше.

Рыбаков показал на банку, еще не полную, и на спускающееся к горизонту солнце и медленно стал подходить к очарованным ягодам.

Сухо щелкнул выстрел, и Рыбаков упал между кочек лицом вниз. Серошапка, размахивая винтовкой, кричал:

— Оставьте на месте, не подходите!

Серошапка отвел затвор и выстрелил еще раз. Мы знали, что значит этот второй выстрел. Знал это и Серошапка. Выстрелов должно быть два — первый бывает предупредительный.

Рыбаков лежал между кочками неожиданно маленький. Небо, горы, река были огромны, и бог весть сколько людей можно уложить в этих горах на тропках между кочками.

Баночка Рыбакова откатилась далеко, я успел подобрать ее и спрятать в карман. Может быть, мне дадут хлеба за эти ягоды — я ведь знал, для кого их собирал Рыбаков.

Серошапка спокойно построил наш небольшой отряд, пересчитал, скомандовал и повел нас домой.

Концом винтовки он задел мое плечо, и я повернулся.

— Тебя хотел, — сказал Серошапка, — да ведь не сунулся, сволочь!..

1959

СУКА ТАМАРА

Суку Тамару привел из тайги наш кузнец — Моисей Моисеевич Кузнецов. Судя по фамилии, профессия у него была родовой. Моисей Моисеевич был уроженцем Минска. Был Кузнецов сиротой, как, впрочем, можно было судить по его имени и отчеству — у евреев сына называют именем отца только и обязательно, если отец умирает до рождения сына. Работе он учился с мальчиков — у дяди, такого же кузнеца, каким был отец Моисея.

Жена Кузнецова была официанткой одного из минских ресторанов, была много моложе сорокалетнего мужа и в тридцать седьмом году, по совету своей задушевной подруги-буфетчицы, написала на мужа донос. Это средство в те годы было вернее всякого заговора или наговора и даже вернее какой-нибудь серной кислоты — муж, Моисей Моисеевич, немедленно исчез. Кузнец он был заводской, не простой коваль, а мастер, даже немножко поэт, работник той породы кузнецов, что могли отковать розу. Инструмент, которым он работал, был изготовлен им собственноручно. Инструмент этот — щипцы, долота, молотки, кувалды — имел несомненное изящество, что обличало любовь к своему делу и понимание мастером души своего дела. Тут дело было вовсе не в симметрии или асимметрии, а кое в чем более глубокое, более внутреннее. Каждая подкова, каждый гвоздь, откованный Моисеем Моисеевичем, были изящны, и на всякой вещи, вышедшей из его рук, была эта печать мастера. Над всякой вещью он оставлял работу с сожалением: ему все казалось, что нужно ударить еще раз, сделать еще лучше, еще удобней.

Начальство его очень ценило, хотя кузнечная работа для геологического участка была невелика. Моисей Моисеевич шутил иногда шутки с начальством, и эти шутки ему прощались за хорошую работу. Так, он заверил начальство, что буры лучше закаляются в масле, чем в воде, и начальник выписывал в кузницу сливочное масло — в ничтожном,

конечно, количестве. Малое количество этого масла Кузнецов бросал в воду, и кончики стальных буров приобретали мягкий блеск, которого никогда не бывало при обычном закаливании. Остальное масло Кузнецов и его молотобоец съедали. Начальнику вскорости донесли о комбинациях кузнеца, но никаких репрессий не последовало. Позднее Кузнецов, настойчиво уверяя в высоком качестве масляного закаливания, выпросил у начальника обрезки масляных брусков, тронутых плесенью на складе. Эти обрезки кузнец перетапливал и получал топленое, чуть-чуть горьковатое масло. Человек он был хороший, тихий и всем желал добра.

Начальник наш знал все тонкости жизни. Он, как Ликург, позаботился о том, чтобы в его таежном государстве было два фельдшера, два кузнеца, два десятника, два повара, два бухгалтера. Один фельдшер лечил, а другой работал на черной работе и следил за своим коллегой — не совершит ли тот чего-либо противозаконного. Если фельдшер злоупотреблял «наркотикой» — всяким «кодеинчиком» и «кофеинчиком», он разоблачался, подвергался наказанию и отправлялся на общие работы, а его коллега, составив и подписав приемочный акт, водворялся в медицинской палатке. По мысли начальника, резервные кадры специалистов не только обеспечивали замену в нужный момент, но и способствовали дисциплине, которая, конечно, сразу упала бы, если хоть один специалист чувствовал себя незаменимым.

Но бухгалтеры, фельдшера, десятники менялись местами довольно бездумно и, уж во всяком случае, не отказывались от стопки спирту, хотя бы ее подносил провокатор.

Кузнецу, подобранному начальником в качестве противовеса Моисею Моисеевичу, так и не пришлось держать молотка в руках — Моисей Моисеевич был безупречен, неуязвим, да и квалификация его была высока.

Он-то и встретил на таежной тропе неизвестную якутскую собаку волчьего вида: суку с полоской вытертой шерсти на белой груди — это была ездовая собака.

Ни поселков, ни кочевых стойбищ якутских вокруг нас не было — собака возникла на таежной тропе перед Кузнецовым, перепуганным до крайности. Моисей Моисеевич подумал, что это волк, и побежал назад, хлюпая сапогами по тропинке, — за Кузнецовым шли другие.

Но волк лег на брюхо и подполз, виляя хвостом, к людям. Его погладили, похлопали по тощим бокам и накормили.

Собака осталась у нас. Скоро стало ясно, почему она не рискнула искать своих настоящих хозяев в тайге.

Ей было время цениться — в первый же вечер она начала рыть яму под палаткой, торопливо, едва отвлекаясь на приветствия. Каждому из пятидесяти хотелось ее погладить, приласкать и собственную свою тоску по ласке рассказать, передать животному.

Сам прораб Касаев, тридцатилетний геолог, справивший недавно десятилетие своей работы на Дальнем Севере, вышел, продолжая наигрывать на неразлучной своей гитаре, и осмотрел нового нашего жителя.

— Пусть он называется Боец, — сказал прораб.

— Это сука, Валентин Иванович, — радостно сказал Славка Ганушкин, повар.

— Сука? Ах, да. Тогда пусть называется Тамарой. — И прораб удалился.

Собака улыбнулась ему вслед, повияляла хвостом. Она быстро установила хорошие отношения со всеми нужными людьми. Тамара понимала роль Касаева и десятника Василенко в нашем поселке, понимала важность дружбы с поваром. На ночь заняла место рядом с ночным сторожем.

Скоро выяснилось, что Тамара берет пищу только из рук и ничего не трогает ни на кухне, ни в палатке, есть там люди или нет.

Эта твердость нравственная особенно умиляла выдавших виды и бывавших во всяких переплетах жителей поселка.

Перед Тамарой раскладывали на полу консервированное мясо, хлеб с маслом. Собака обнюхивала съестные припасы, выбирала и уносила всегда одно и то же — кусок соленой кеты, самое родное, самое вкусное, наверняка безопасное.

Сука вскоре оценилась — шесть маленьких щенят стало в темной яме. Щенята сделали конуру, перетаскили их туда. Тамара долго волновалась, унижалась, виляла хвостом, но, по-видимому, все было в порядке, щенки были целы.

В это время поисковой партии пришлось подвинуться еще километра на три в горы — от базы, где были склады, кухня, начальство, место жилья было километрах в семи. Конура со щенятами была взята на новое место, и Тамара дважды и трижды в день бегала к повару и тащила щенятам в зубах какую-нибудь кость, которую ей давал повар. Щенят бы накормили и так, но Тамара никогда не была в этом уверена.

Случилось так, что в наш поселок прибыл лыжный отряд «оперативки», рыскавший в тайге в поисках беглецов. Побег зимой — крайне редкое дело, но были сведения, что с соседнего прииска бежали пять арестантов, и чащу прочесывали.

На поселке лыжному отряду отвели не палатку, вроде той, в которой мы жили, а единственное в поселке рубленое здание — баню. Миссия лыжников была слишком серьезна, чтобы вызвать чьи-либо протесты, как объяснил нам прораб Касаев.

Жители отнеслись к незванным гостям с привычным безразличием, покорностью. Только одно существо выразило резкое недовольство по этому поводу.

Сука Тамара молча бросилась на ближайшего охранника и прокусила ему валенок. Шерсть на Тамаре стояла дыбом, и бесстрашная злоба была в ее глазах. Собаку с трудом отогнали, удержали.

Начальник опергруппы Назаров, о котором мы кое-что слышали и раньше, схватился было за автомат, чтобы пристрелить собаку, но Касаев удержал его за руку и втащил за собой в баню.

По совету плотника Семена Парменова на Тамару надели веревочную лямку и привязали ее к дереву — не век же оперативники будут у нас жить.

Лаять Тамара не умела, как всякая якутская собака. Она рычала, старые клыки пытались перегрызть веревку — это была совсем не та мирная якутская сука, которая прожила с нами зиму. Ненависть ее была необыкновенна, и за этой ненавистью вставало ее прошлое: не в первый раз собака встречалась с конвоирами, это было видно каждому.

Какая лесная трагедия осталась навсегда в собачьей памяти? Было ли это страшное былое причиной появления якутской суки в тайге близ нашего поселка?

Назаров мог бы, вероятно, кое-что рассказать, если помнил не только людей, но и животных.

Дней через пять ушли три лыжника, а Назаров с приятелем и с нашим прорабом собрались уходить на следующее утро. Всю ночь они пили, опохмелились на рассвете и пошли.

Тамара зарычала, и Назаров вернулся, снял с плеча автомат и выпустил в собаку патронную очередь в упор. Тамара дернулась и замолчала. Но на выстрел уже бежали из палаток люди, хватая топоры, ломы. Прораб бросился наперерез рабочим, и Назаров скрылся в лесу.

Иногда исполняются желания, а может быть, ненависть всех пятидесяти человек к этому начальнику была так страстна и велика, что стала реальной силой и догнала Назарова.

Назаров ушел на лыжах вдвоем со своим помощником. Они пошли не руслом вымерзшей до дна реки — лучшей зимней дороги к большому шоссе в двадцати километрах от нашего поселка, — а горами через перевал. Назаров боялся погони, притом путь горами был ближе, а лыжник он был превосходный.

Уже стемнело, когда поднялись они на перевал, только на вершинах гор был еще день, а провалы ущелий были темными. Назаров стал спускаться с горы наискось, лес стал гуще. Назаров понял, что ему надо остановиться, но лыжи увлекали его вниз, и он налетел на длинный, обточенный временем пень упавшей лиственницы, укрытой под снегом. Пень пропорол Назарову брюхо и спину, разорвав шинель. Второй боец был далеко внизу на лыжах, он добежал до шоссе и только на другой день поднял тревогу. Нашли Назарова через два дня, он висел на этом пне заковевший в позе движения, бега, похожий на фигуру из батальной диорамы.

Шкуру с Тамары содрали, растянули гвоздями на стене конюшни, но растянули плохо — высохшая шкура стала совсем маленькой, и нельзя было подумать, что она была в пору крупной ездовой якутской лайке.

Приехал вскоре лесничий выписывать задним числом билеты на порубки леса, произведенные больше года назад. Когда валили деревья, никто не думал о высоте пеньков, пеньки оказались выше нормы — требовалась повторная работа. Это была легкая работа. Лесничему дали купить кое-что в магазине, дали денег, спирту. Уезжая, лесничий выпросил собачью шкуру, висевшую на стене конюшни, — он ее выделает и сошьет «собачины» — северные собачьи рукавицы мехом вверх. Дыры на шкуре от пуль не имели, по его словам, значения.

1959

ШЕРРИ-БРЕНДИ

Поэт умирал. Большие, вздутые голодом кисти рук с белыми бескровными пальцами и грязными, отросшими трубочкой ногтями лежали на груди, не прячась от холода. Раньше он совал их за пазуху, на голое тело, но теперь там было слишком мало тепла. Рукавицы давно украли; для краж нужна была только наглость — воровали среди бела дня. Тусклое электрическое солнце, загаженное мухами и закованное круглой решеткой, было прикреплено высоко под потолком. Свет падал в ноги поэта — он лежал, как в ящике, в темной глубине нижнего ряда сплошных двухэтажных нар. Время от времени пальцы рук двигались, щелкали, как кастаньеты, и ощупывали пуговицу, петлю, дыру на буплате, смахивали какой-то сор и снова останавливались. Поэт так долго умирал, что перестал понимать, что он умирает. Иногда приходила, болезненно и почти ощутимо проталкиваясь через мозг, какая-нибудь простая и сильная мысль — что у него украли хлеб, который он положил под голову. И это было так обжигающе страшно, что он готов был спорить, ругаться, драться, искать, доказывать. Но сил для всего этого не было, и мысль о хлебе слабела... И сейчас же он думал о другом, о том, что всех должны везти за море, и почему-то опаздывает пароход, и хорошо, что он здесь. И так же легко и зыбко он начинал думать о большом родимом пятне на лице дневального барака. Большую часть суток он думал о тех событиях, которые наполняли его жизнь здесь. Видения, которые вставали перед его глазами, не были видениями детства, юности, успеха. Всю жизнь он куда-то спешил. Было прекрасно, что торопиться не надо, что думать можно медленно. И он не спеша думал о великом однообразии предсмертных движений, о том, что поняли и описали врачи раньше, чем художники и поэты. Гипшократово лицо — предсмертная маска человека — известно вся-

кому студенту медицинского факультета. Это загадочное однообразие предсмертных движений послужило Фрейду поводом для самых смелых гипотез. Однообразие, повторение — вот обязательная почва науки. То, что в смерти неповторимо, искали не врачи, а поэты. Приятно было сознавать, что он еще может думать. Голодная тошнота стала давно привычной. И все было равноправно — Гиппократ, дневальный с родимым пятном и его собственный грязный ноготь.

Жизнь входила в него и выходила, и он умирал. Но жизнь появлялась снова, открывались глаза, появлялись мысли. Только желаний не появлялось. Он давно жил в мире, где часто приходится возвращать людям жизнь — искусственным дыханием, глюкозой, камфорой, кофеином. Мертвый вновь становился живым. И почему бы нет? Он верил в бессмертие, в настоящее человеческое бессмертие. Часто думал, что просто нет никаких биологических причин, почему бы человеку не жить вечно... Старость — это только излечимая болезнь, и, если бы не это не разгаданное до сей минуты трагическое недоразумение, он мог бы жить вечно. Или до тех пор, пока не устанет. А он вовсе не устал жить. Даже сейчас, в этом пересыльном бараке, «транзитке», как любовно выговаривали здешние жители. Она была преддверием ужаса, но сама ужасом не была. Напротив, здесь жил дух свободы, и это чувствовалось всеми. Впереди был лагерь, позади — тюрьма. Это был «мир в дороге», и поэт понимал это.

Был еще один путь бессмертия — тютчевский:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.

Но если уж ему, как видно, не придется быть бессмертным в человеческом образе, как некая физическая единица, то уж творческое-то бессмертие он заслужил. Его называли первым русским поэтом двадцатого века, и он часто думал, что это действительно так. Он верил в бессмертие своих стихов. У него не было учеников, но разве поэты их терпят? Он писал и прозу — плохую, писал статьи. Но только в стихах он нашел кое-что новое для поэзии, важное, как казалось ему всегда. Вся его прошлая жизнь была литературой, книгой, сказкой, сном, и только настоящий день был подлинной жизнью.

Все это думалось не в споре, а потаенно, где-то глубоко в себе. Размышлениям этим не хватало страсти. Равнодушие давно владело им. Какими все это было пустяками, «мышьей беготней» по сравнению с недоброй тяжестью жизни. Он удивлялся себе — как он может думать так о стихах, когда все уже было решено, а он это знал очень хорошо, лучше, чем кто-либо? Кому он нужен здесь и кому он равен? Почему же все это надо было понять, и он ждал... и понял.

В те минуты, когда жизнь возвращалась в его тело и его полуоткрытые мутные глаза вдруг начинали видеть, веки вздрагивать и пальцы шевелиться, возвращались и мысли, о которых он не думал, что они — последние.

Жизнь входила сама как самовластная хозяйка: он не звал ее, и все же она входила в его тело, в его мозг, входила, как стихи, как вдохновение. И значение этого слова впервые открылось ему во всей полноте. Стихи были той животворящей силой, которой он жил. Именно так. Он не жил ради стихов, он жил стихами.

Сейчас было так наглядно, так осязаемо ясно, что вдохновение и было жизнью; перед смертью ему дано было узнать, что жизнь была вдохновением, именно вдохновением.

И он радовался, что ему дано было узнать эту последнюю правду.

Все, весь мир сравнивался со стихами: работа, конский топот, дом, птица, скала, любовь — вся жизнь легко входила в стихи и там размещалась удобно. И это так и должно было быть, ибо стихи были словом.

Строфы и сейчас легко вставали, одна за другой, и, хоть он давно не записывал и не мог записывать своих стихов, все же слова легко вставляли в каком-то заданном и каждый раз необычайном ритме. Рифма была искателем, инструментом магнитного поиска слов и понятий. Каждое слово было частью мира, оно откликалось на рифму, и весь мир проносился с быстротой какой-нибудь электронной машины. Все кричало: возьми меня. Нет, меня. Искать ничего не приходилось. Приходилось только отбрасывать. Здесь было как бы два человека — тот, который сочиняет, который запустил свою вертушку вовсю, и другой, который выбирает и время от времени останавливает запущенную машину. И, увидя, что он — это два человека, поэт понял, что сочиняет сейчас настоящие стихи. А что в том, что они не записаны? Записать, напечатать — все это суета сует. Все, что рождается небескорыстно, — это не самое лучшее. Самое лучшее то, что не записано, что сочинено и исчезло, растаяло без следа, и только творческая радость, которую ощущает он и которую ни с чем не спутать, доказывает, что стихотворение было создано, что прекрасное было создано. Не ошибается ли он? Безошибочна ли его творческая радость?

Он вспомнил, как плохи, как поэтически беспомощны были последние стихи Блока и как Блок этого, кажется, не понимал...

Поэт заставил себя остановиться. Это было легче делать здесь, чем где-нибудь в Ленинграде или Москве.

Тут он поймал себя на том, что он уже давно ни о чем не думает. Жизнь опять уходила из него.

Долгие часы он лежал неподвижно и вдруг увидел недалеко от себя нечто вроде стрелковой мишени или геологической карты. Карта была немая, и он тщетно пытался понять изображенное. Прошло немало времени, пока он сообразил, что это его собственные пальцы. На

кончиках пальцев еще оставались коричневые следы докуренных, дососанных махорочных папирос — на подушечках ясно выделялся дактилоскопический рисунок, как чертеж горного рельефа. Рисунок был одинаков на всех десяти пальцах — концентрические кружки, похожие на срез дерева. Он вспомнил, как однажды в детстве его остановил на бульваре китаец из прачечной, которая была в подвале того дома, где он вырос. Китаец случайно взял его за руку, за другую, вывернул ладони вверх и возбужденно закричал что-то на своем языке. Оказалось, что он объявил мальчика счастливым, обладателем верной приметы. Эту метку счастья поэт вспоминал много раз, особенно часто тогда, когда напечатал свою первую книжку. Сейчас он вспоминал китайца без злобы и без иронии — ему было все равно.

Самое главное, что он еще не умер. Кстати, что значит: умер как поэт? Что-то детски наивное должно быть в этой смерти. Или что-то нарочитое, театральное, как у Есенина, у Маяковского.

Умер как актер — это еще понятно. Но умер как поэт?

Да, он догадывался кое о чем из того, что ждало его впереди. На пересылке он многое успел понять и угадать. И он радовался, тихо радовался своему бессилию и надеялся, что умрет. Он вспомнил давнишний тюремный спор: что хуже, что страшнее — лагерь или тюрьма? Никто ничего толком не знал, аргументы были умозрительные, и как жестоко улыбался человек, привезенный из лагеря в ту тюрьму. Он запомнил улыбку этого человека навсегда, так, что боялся ее вспоминать.

Подумайте, как ловко он их обманет, тех, что привезли его сюда, если сейчас умрет, — на целых десять лет. Он был несколько лет назад в ссылке и знал, что он занесен в особые списки навсегда. Навсегда?! Масштабы сместились, и слова изменили смысл.

Снова он почувствовал начинающийся прилив сил, именно прилив, как в море. Многочасовой прилив. А потом — отлив. Но море ведь не уходит от нас навсегда. Он еще поправится.

Внезапно ему захотелось есть, но не было силы двигаться. Он медленно и трудно вспомнил, что отдал сегодняшней суп соседу, что кружка кипятку была его единственной пищей за последний день. Кроме хлеба, конечно. Но хлеб выдавали очень, очень давно. А вчерашний — украли. У кого-то еще были силы воровать.

Так он лежал легко и бездумно, пока не наступило утро. Электрический свет стал чуть желтее, и принесли на больших фанерных подносах хлеб, как приносили каждый день.

Но он уже не волновался, не высматривал горбушку, не плакал, если горбушка доставалась не ему, не запикивал в рот дрожащими пальцами довесок, и довесок мгновенно таял во рту, ноздри его надувались, и он всем своим существом чувствовал вкус и запах свежего ржаного хлеба. А довеска уже не было во рту, хотя он не успел сделать глотка или пошевелить челюстью. Кусок хлеба растаял, исчез, и это было чудо —

одно из многих здешних чудес. Нет, сейчас он не волновался. Но когда ему вложили в руки его суточную пайку, он обхватил ее своими бескровными пальцами и прижал хлеб ко рту. Он кусал хлеб цинготными зубами, десны кровоточили, зубы шатались, но он не чувствовал боли. Изо всех сил он прижимал ко рту, запикивал в рот хлеб, сосал его, рвал и грыз...

Его останавливали соседи.

— Не ешь все, лучше потом съешь, потом...

И поэт понял. Он широко раскрыл глаза, не выпуская окровавленно-го хлеба из грязных синеватых пальцев.

— Когда потом? — отчетливо и ясно выговорил он. И закрыл глаза.

К вечеру он умер.

Но списали его на два дня позднее, — изобретательным соседям его удавалось при раздаче хлеба двое суток получать хлеб на мертвеца; мертвец поднимал руку, как кукла-марионетка. Стало быть, он умер раньше даты своей смерти — немаловажная деталь для будущих его биографов.

1958

ДЕТСКИЕ КАРТИНКИ

Нас выгоняли на работу без всяких списков, отсчитывали в воротах пятерки. Строили всегда по пятеркам, ибо таблицей умножения умели бегло пользоваться далеко не все конвоиры. Любое арифметическое действие, если его производить на морозе и притом на живом материале, — штука серьезная. Чаша арестантского терпения может переполниться внезапно, и начальство считалось с этим.

Нынче у нас была легкая работа, блатная работа — пила дров на циркулярной пиле. Пила вращалась в станке, легонько постукивая. Мы заваливали огромное бревно на станок и медленно подвигали к пиле.

Пила взвизгивала и яростно рычала — ей, как и нам, не нравилась работа на Севере, но мы двигали бревно все вперед и вперед, и вот бревно распалось на две части, неожиданно легкие отрезки.

Третий наш товарищ колот дрова тяжелым синеватым колуном на длинной желтой ручке. Толстые чурки он окальвал с краев, те, что потоньше, разрубал с первого удара. Удары были слабы — товарищ наш был так же голоден, как и мы, но замороженная лиственница колется легко. Природа на Севере не безразлична, не равнодушна — она в створе с теми, кто послал нас сюда.

Мы кончили работу, сложили дрова и стали ждать конвоя. Конвоир-то у нас был, он грелся в учреждении, для которого мы пилили дрова, но домой полагалось возвращаться в полном параде — всей партией, разбившейся в городе на малые группы.

Кончив работу, греться мы не пошли. Давно уже мы заметили большую мусорную кучу близ забора — дело, которым нельзя пренебрегать. Оба моих товарища ловко и привычно обследовали кучу, снимая заледневшие наслоения одно за другим. Куски замороженного хлеба, смерзшийся комок котлет и рваные мужские носки были их добычей. Самым ценным были, конечно, носки, и я жалел, что не мне досталась эта находка. Носки, шарфы, перчатки, рубашки, брюки вольные — «штатские» — большая ценность среди людей, десятилетиями надевающих лишь казенные вещи. Носки можно починить, залатать — вот и табак, вот и хлеб.

Удача товарищей не давала мне покоя. Я тоже отламывал ногами и руками разноцветные куски мусорной кучи. Отодвинув какую-то тряпку, похожую на человеческие кишки, я увидел — впервые за много лет — серую ученическую тетрадку.

Это была обыкновенная школьная тетрадка, детская тетрадка для рисования. Все ее страницы были разрисованы красками, тщательно и трудолюбиво. Я перевертывал хрупкую на морозе бумагу, заиндевелые яркие и холодные наивные листы. И я рисовал когда-то — давно это было, — примостясь у семилинейной керосиновой лампы на обеденном столе. От прикосновения волшебных кисточек оживал мертвый богатырь сказки, как бы спрыснутый живой водой. Акварельные краски, похожие на женские пуговицы, лежали в белой жестяной коробке. Иван Царевич на сером волке скакал по еловому лесу. Елки были меньше серого волка. Иван Царевич сидел верхом на волке так, как эвенки ездят на оленях, почти касаясь пятками мха. Дым пружинной поднимался к небу, и птички, как отчеркнутые галочки, виднелись в синем звездном небе.

И чем сильнее я вспоминал свое детство, тем яснее понимал, что детство мое не повторяется, что я не встречу и тени его в чужой ребяческой тетради.

Это была грозная тетрадь.

Северный город был деревянным, заборы и стены домов красились светлой охрой, и кисточка юного художника честно повторила этот желтый цвет везде, где мальчик хотел говорить об уличных зданиях, об изделии рук человеческих.

В тетрадке было много, очень много заборов. Люди и дома почти на каждом рисунке были огорожены желтыми ровными заборами, обвитыми черными линиями колючей проволоки. Железные нити казенного образца покрывали все заборы в детской тетрадке.

Около забора стояли люди. Люди тетрадки не были ни крестьянами, ни рабочими, ни охотниками — это были солдаты, это были конвойные и часовые с винтовками. Дождевые будки-грибы, около которых юный художник разместил конвойных и часовых, стояли у подножья

огромных караульных вышек. И на вышках ходили солдаты, блестели винтовочные стволы.

Тетрадка была невелика, но мальчик успел нарисовать в ней все времена года своего родного города.

Яркая земля, однотонно-зеленая, как на картинах раннего Матисса, и синее-синее небо, свежее, чистое и ясное. Закаты и восходы были добротны алыми, и это не было детским неумением найти полутона, цветовые переходы, раскрыть секреты светотени.

Сочетания красок в школьной тетради были правдивым изображением неба Дальнего Севера, краски которого необычайно чисты и ясны и не имеют полутонов.

Я вспомнил старую северную легенду о боге, который был еще ребенком, когда создавал тайгу. Красок было немного, краски были порбячески чисты, рисунки просты и ясны, сюжеты их неумудренные.

После, когда бог вырос, стал взрослым, он научился вырезать причудливые узоры листьев, выдумал множество разноцветных птиц. Детский мир надоел богу, и он закидал снегом таежное свое творенье и ушел на юг навсегда. Так говорила легенда.

И в зимних рисунках ребенок не отошел от истины. Зелень исчезла. Деревья были черными и голыми. Это были даурские лиственницы, а не сосны и елки моего детства.

Шла северная охота; зубастая немецкая овчарка натягивала поводок, который держал в руке Иван Царевич. Иван Царевич был в шапке-ушанке военного образца, в белом овчинном полушубке, в валенках и в глубоких рукавицах, крагах, как их называют на Дальнем Севере. За плечами Ивана Царевича висел автомат. Голые треугольные деревья были натканы в снег.

Ребенок ничего не увидел, ничего не запомнил, кроме желтых домов, колючей проволоки, вышек, овчарок, конвоиров с автоматами и синего, синего неба.

Товарищ мой заглянул в тетрадку и пощупал листы.

— Газету бы лучше искал на курево. — Он вырвал тетрадку из моих рук, скомкал и бросил в мусорную кучу. Тетрадка стала покрываться инеем.

1959

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО

От голода наша зависть была тупа и бессильна, как каждое из наших чувств. У нас не было силы на чувства, на то, чтобы искать работу полегче, чтобы ходить, спрашивать, просить... Мы завидовали только знакомым, тем, вместе с которыми мы явились в этот мир, тем, кому удалось попасть на работу в контору, в больницу, в конюшню — там

не было многочасового тяжелого физического труда, прославленного на фронтонах всех ворот как дело доблести и героизма. Словом, мы завидовали только Шестакову.

Только что-либо внешнее могло вывести нас из безразличия, отвести от медленно приближающейся смерти. Внешняя, а не внутренняя сила. Внутри все было выжжено, опустошено, нам было все равно, и дальше завтрашнего дня мы не строили планов.

Вот и сейчас — хотелось уйти в барак, лечь на нары, а я все стояла у дверей продуктового магазина. В этом магазине могли покупать только осужденные по бытовым статьям, а также причисленные к «друзьям народа» воры-рецидивисты. Нам там было нечего делать, но нельзя было отвести глаз от хлебных буханок шоколадного цвета; сладкий и тяжелый запах свежего хлеба щекотал ноздри — даже голова кружилась от этого запаха. И я стоял и не знал, когда я найду в себе силы уйти в барак, и смотрел на хлеб. И тут меня окликнул Шестаков.

Шестакова я знал по Большой земле, по Бутырской тюрьме: сидел с ним в одной камере. Дружбы у нас там не было, было просто знакомство. На прииске Шестаков не работал в забое. Он был инженер-геолог, и его взяли на работу в геологоразведку, в контору, стало быть. Счастливец едва здоровался со своими московскими знакомыми. Мы не обижались — мало ли что ему могли на сей счет приказать. Своя рубашка и т. д.

— Кури, — сказал Шестаков и протянул мне обрывок газеты, насыпал махорки, зажег спичку, настоящую спичку...

Я закурил.

— Мне надо с тобой поговорить, — сказал Шестаков.

— Со мной?

— Да.

Мы отошли за бараки и сели на борт старого забоя. Ноги мои сразу отяжелели, а Шестаков весело болтал своими новенькими казенными ботинками, от которых слегка пахло рыбьим жиром. Брюки завернулись и открыли шахматные носки. Я обзирал шестаковские ноги с истинным восхищением и даже некоторой гордостью — хоть один человек из нашей камеры не носит портянок. Земля под нами тряслась от глухих взрывов — это готовили грунт для ночной смены. Маленькие камешки падали у наших ног, шелестя, серые и незаметные, как птицы.

— Отойдем подальше, — сказал Шестаков.

— Не убьет, не бойся. Носки будут целы.

— Я не о носках, — сказал Шестаков и провел указательным пальцем по горизонту. — Как ты смотришь на все это?

— Умрем, наверно, — сказал я. Меньше всего мне хотелось думать об этом.

— Ну нет, умирать я не согласен.

— Ну?

— У меня есть карта, — вяло сказал Шестаков. — Я возьму рабочих, тебя возьму и пойду на Черные Ключи — это пятнадцать километров отсюда. У меня будет пропуск. И мы уйдем к морю. Согласен?

Он выложил все это равнодушной скороговоркой.

— А у моря? Поплывем?

— Все равно. Важно начать. Так жить я не могу. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — торжественно произнес Шестаков. — Кто это сказал?

В самом деле. Знакомая фраза. Но не было сил вспомнить, кто и когда говорил эти слова. Все книжное было забыто. Книжному не верили. Я засучил брюки, показал красные цинготные язвы.

— Вот в лесу и вылечишь, — сказал Шестаков, — на ягодах, на витаминах. Я выведу, я знаю дорогу. У меня есть карта...

Я закрыл глаза и думал. До моря отсюда три пути — и все по пятьсот километров, не меньше. Не только я, но и Шестаков не дойдет. Не берет же он меня как пищу с собой? Нет, конечно. Но зачем он жмет? Он знает это не хуже меня; и вдруг я испугался Шестакова — единственного из нас, кто устроился на работу по специальности. Кто его туда устроил и какой ценой? За все ведь надо платить. Чужой кровью, чужой жизнью...

— Я согласен, — сказал я, открывая глаза. — Только мне надо подкормиться.

— Вот и хорошо, хорошо. Обязательно подкормишься. Я принесу тебе... консервов. У нас ведь можно...

Есть много консервов на свете — мясных, рыбных, фруктовых, овощных... Но прекрасней всех — молочные, сгущенное молоко. Конечно, их не надо пить с кипятком. Их надо есть ложкой, или мазать на хлеб, или глотать понемножку, из банки, медленно есть, глядя, как желтеет светлая жидкая масса, как налипают на банку сахарные звездочки...

— Завтра, — сказал я, задыхаясь от счастья, — молочных...

— Хорошо, хорошо. Молочных. — И Шестаков ушел.

Я вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Думать было нелегко. Это была какой-то физический процесс — материальность нашей психики впервые представляла мне во всей наглядности, во всей осязаемости. Думать было больно. Но думать было надо. Он соберет нас в побег и сдаст — это совершенно ясно. Он заплатит за свою конторскую работу нашей кровью, моей кровью. Нас или убьют там же, на Черных Ключах, или приведут живыми и осудят — добавят еще лет пятнадцать. Ведь не может же он не знать, что выйти отсюда нельзя. Но молоко, сгущенное молоко...

Я заснул, и в своем рваном голодном сне я видел эту шестаковскую банку сгущенного молока — чудовищную банку с облачно-синей на-

клеякой. Огромная, синяя, как ночное небо, банка была пробита в тысяче мест, и молоко просачивалось и текло широкой струей Млечного Пути. И легко доставал я руками до неба и ел густое, сладкое, звездное молоко.

Не помню, что я делал в этот день и как работал. Я ждал, ждал, пока солнце склонится к западу, пока заржут лошади, которые лучше людей угадывают конец рабочего дня.

Хрипло загудел гудок, и я пошел к барaku, где жил Шестаков. Он ждал меня на крыльце. Карманы его телогрейки оттопырились.

Мы сели за большой вымытый стол в бараке, и Шестаков вытащил из кармана две банки сгущенного молока.

Углом топора я пробил банку. Густая белая струя потекла на крышку, на мою руку.

— Надо было вторую дырку пробить. Для воздуха, — сказал Шестаков.

— Ничего, — сказал я, облизывая грязные сладкие пальцы.

— Дайте ложку, — сказал Шестаков, поворачиваясь к обступившим нас рабочим. Десять блестящих, отлизанных ложек потянулись над столом. Все стояли и смотрели, как я ем. В этом не было неделикатности или скрытого желания угоститься. Никто из них и не надеялся, что я поделюсь с ним этим молоком. Такое не было видано — интерес их к чужой пище был вполне бескорыстен. И я знал, что нельзя не глядеть на пищу, исчезающую во рту другого человека. Я сел поудобнее и ел молоко без хлеба, запивая изредка холодной водой. Я съел обе банки. Зрители отошли в сторону — спектакль был окончен. Шестаков смотрел на меня сочувственно.

— Знаешь что, — сказал я, тщательно облизывая ложку, — я передумал. Идите без меня.

Шестаков понял и вышел, не сказав мне ни слова.

Это было, конечно, ничтожной мстью, слабой, как все мои чувства. Но что я мог сделать еще? Предупредить других — я не знал их. А предупредить было надо — Шестаков успел уговорить пятерых. Они бежали через неделю, двоих убили недалеко от Черных Ключей, троих судили через месяц. Дело о самом Шестакове было выделено производством, его вскоре куда-то увезли, через полгода я встретил его на другом прииске. Дополнительного срока за побег он не получил — начальство играло с ним честно, а ведь могло быть и иначе.

Он работал в геологоразведке, был брит и сыт, и шахматные носки его все еще были целы. Со мной он не здоровался, и зря: две банки сгущенного молока не такое уж большое дело, в конце концов...

<1956>

ХЛЕБ

Двустворчатая огромная дверь раскрылась, и в пересыльный барак вошел раздатчик. Он встал в широкой полосе утреннего света, отраженного голубым снегом. Две тысячи глаз смотрели на него отовсюду: снизу — из-под нар, прямо, сбоку и сверху — с высоты четырехэтажных нар, куда забирались по лесенке те, кто еще сохранил силу. Сегодня был селедочный день, и за раздатчиком несли огромный фанерный поднос, прогнувшийся под горой селедок, разрубленных пополам. За подносом шел дежурный надзиратель в белом, сверкающем как солнце дубленом овчинном полушубке. Селедку выдавали по утрам — через день по половине. Какие расчеты белков и калорий были тут произведены, этого не знал никто, да никто и не интересовался такой схоластикой. Шепот сотен людей повторял одно и то же слово: хвостики. Какой-то мудрый начальник, считаясь с арестантской психологией, распорядился выдавать одновременно либо селедочные головы, либо хвосты. Преимущества тех и других были многократно обсуждены: в хвостиках, кажется, было побольше рыбьего мяса, но зато голова давала больше удовольствия. Процесс поглощения пицци длился, пока обсасывались жабры, выедалась головизна. Селедку выдавали нечищенной, и это все одобряли, ведь ее ели со всеми костями и шкурой. Но сожаление о рыбьих головках мелькнуло и исчезло: хвостики были данностью, фактом. К тому же поднос приближался, и наступала самая волнующая минута: какой величины обренок достанется, менять ведь было нельзя, протестовать тоже, все было в руках удачи — картой в этой игре с голодом. Человек, который невнимательно режет селедки на порции, не всегда понимает (или просто забыл), что десять граммов больше или меньше — десять граммов, кажущихся десять граммов на глаз, — могут привести к драме, к кровавой драме, может быть. О слезах же и говорить нечего. Слезы часты, они понятны всем, и над плачущими не смеются.

Пока раздатчик приближается, каждый уже подсчитал, какой именно кусок будет протянут ему этой равнодушной рукой. Каждый успел уже огорчиться, обрадоваться, приготовиться к чуду, достичь края отчаяния, если он ошибся в своих торопливых расчетах. Некоторые зажмуривали глаза, не совладав с волнением, чтобы открыть их только тогда, когда раздатчик толкнет его и протянет селедочный паек. Схватив селедку грязными пальцами, погладив, пожав ее быстро и нежно, чтоб определить — сухая или жирная досталась порция (впрочем, охотские селедки не бывают жирными, и это движение пальцев — тоже ожидание чуда), он не может удержаться, чтоб не обвести быстрым взглядом руки тех, которые окружают его и которые тоже глядят и мнут селедочные кусочки, боясь поторопиться проглотить этот крохотный хвостик. Он не ест селедку. Он ее лижет, лижет, и хвостик мало-помалу исчезает из

пальцев. Остаются кости, и он жует кости осторожно, бережно жует, и кости тают и исчезают. Потом он принимается за хлеб — пятьсот граммов выдается на сутки с утра, — отщипывает по крошечному кусочку и отправляет его в рот. Хлеб все едят сразу — так никто не украдет и никто не отнимет, да и сил нет его уберечь. Не надо только торопиться, не надо запивать его водой, не надо жевать. Надо сосать его, как сахар, как леденец. Потом можно взять кружку чаю — тепловатой воды, зачерненной жженой коркой.

Съедена селедка, съеден хлеб, выпит чай. Сразу становится жарко и никуда не хочется идти, хочется лечь, но уже надо одеваться — натянуть на себя оборванную телогрейку, которая была твоим одеялом, подвязать веревками подошвы к рваным буркам из стеганой ваты, буркам, которые были твоей подушкой, и надо торопиться, ибо двери вновь распахнуты и за проволочной колючей загородкой дворика стоят конвоиры и собаки...

Мы — в карантине, в тифозном карантине, но нам не дают бездельничать. Нас гоняют на работу — не по спискам, а просто отсчитывают пятерки в воротах. Существует способ, довольно надежный, попадать каждый день на сравнительно выгодную работу. Нужны только терпение и выдержка. Выгодная работа — это всегда та работа, куда берут мало людей: двух, трех, четырех. Работа, куда берут двадцать, тридцать, сто, — это тяжелая работа, земляная большей частью. И хотя никогда арестанту не объявляют заранее места работы, он узнает об этом уже в пути, удача в этой страшной лотерее достается людям с терпением. Надо жаться сзади, в чужие шеренги, отходить в сторону и кидаться вперед тогда, когда строят маленькую группу. Для крупных же партий самое выгодное — переборка овощей на складе, хлебозавод, словом, все те места, где работа связана с едой, будущей или настоящей, — там есть всегда остатки, обломки, обрезки того, что можно есть.

Нас выстроили и повели по грязной апрельской дороге. Сапоги конвоиров бодро шлепали по лужам. Нам в городской черте ломать строй не разрешалось — луж не обходил никто. Ноги сырели, но на это не обращали внимания — простуд не боялись. Студились уже тысячу раз, и притом самое грозное, что могло случиться, — воспаление легких, скажем, — привело бы в желанную больницу. По рядам отрывисто шептали:

— На хлебозавод, слышь, вы, на хлебозавод!

Есть люди, которые вечно все знают и все угадывают. Есть и такие, которые во всем хотят видеть лучшее, и их сангвинический темперамент в самом тяжелом положении всегда отыскивает какую-то формулу согласия с жизнью. Для других, напротив, события развиваются к худшему, и всякое улучшение они воспринимают недоверчиво, как некий недосмотр судьбы. И эта разница суждений мало зависит от личного опыта: она как бы дается в детстве — на всю жизнь...

Самые смелые надежды сбылись — мы стояли перед воротами хлебозавода. Двадцать человек, засунув руки в рукава, топтались, подставляя спины пронизывающему ветру. Конвоиры, отойдя в сторону, закуривали. Из маленькой двери, прорезанной в воротах, вышел человек без шапки, в синем халате. Он поговорил с конвоирами и подошел к нам. Медленно он обводил взглядом всех. Колыма каждого делает психологом, а ему надо было сообразить в одну минуту очень много. Среди двадцати оборванцев надо было выбрать двоих для работы внутри хлебозавода, в цехах. Надо, чтобы эти люди были покрепче прочих, чтоб они могли таскать носилки с битым кирпичом, оставшимся после перекладки печи. Чтобы они не были ворами, блатными, ибо тогда рабочий день будет потрачен на всякие встречи, передачу «ксив» — записок, а не на работу. Надо, чтоб они не дошли еще до границы, за которой каждый может стать вором от голода, ибо в цехах их никто караулить не будет. Надо, чтоб они не были склонны к побегу. Надо...

И все это надо было прочесть на двадцати арестантских лицах в одну минуту, тут же выбрать и решить.

— Выходи, — сказал мне человек без шапки. — И ты, — ткнул он моего веснушчатого всеведущего соседа. — Вот этих возьму, — сказал он конвоиру.

— Ладно, — сказал тот равнодушно.

Завистливые взгляды провожали нас.

У людей никогда не действуют одновременно с полной напряженностью все пять человеческих чувств. Я не слышу радио, когда внимательно читаю. Строчки прыгают перед глазами, когда я вслушиваюсь в радиопередачу, хотя автоматизм чтения сохраняется, я веду глазами по строчкам, и вдруг обнаруживается, что из только что прочитанного я не помню ничего. То же бывает, когда среди чтения задумываешься о чем-либо другом, — это уж действуют какие-то внутренние переключатели. Народная поговорка — когда я ем, я глух и нем — известна каждому. Можно бы добавить: «и слеп», ибо функция зрения при такой еде с аппетитом сосредотачивается на помощи вкусовому восприятию. Когда я что-либо нащупываю рукой глубоко в шкафу и восприятие локализовано на кончиках пальцев, я ничего не вижу и не слышу, все вытеснено напряжением ощущения осязательного. Так и сейчас, переступив порог хлебозавода, я стоял, не видя сочувственных и доброжелательных лиц рабочих (здесь работали и бывшие, и сущие заключенные), и не слышал слов мастера, знакомого человека без шапки, объяснявшего, что мы должны вытащить на улицу битый кирпич, что мы не должны ходить по другим цехам, не должны воровать, что хлеба он даст и так, — я ничего не слышал. Я не ощущал и того тепла жарко натопленного цеха, тепла, по которому так стосковалось за долгую зиму тело.

Я вдыхал запах хлеба, густой аромат буханок, где запах горящего масла смешивался с запахом поджаренной муки. Ничтожнейшую часть

этого подавляющего все аромата я жадно ловил по утрам, прижав нос к корочке еще не съеденной пайки. Но здесь он был во всей густоте и мощи и, казалось, разрывал мои бедные ноздри.

Мастер прервал очарование.

— Загляделся, — сказал он. — Пойдем в котельную.

Мы спустились в подвал. В чисто подметенной котельной у столика кочегара уже сидел мой напарник. Кочегар в таком же синем халате, что и у мастера, курил у печки, и было видно сквозь отверстия в чугунной дверце топки, как внутри металось и сверкало пламя — то красное, то желтое, и стенки котла дрожали и гудели от судорог огня.

Мастер поставил на стол чайник, кружку с повидлом, положил буханку белого хлеба.

— Напой их, — сказал он кочегару. — Я приду минут через двадцать. Только не тяните, ешьте быстрее. Вечером хлеба дадим еще, на куски поломайте, а то у вас в лагере отберут.

Мастер ушел.

— Ишь, сука, — сказал кочегар, вертя в руках буханку. — Пожалел тридцатки, гад. Ну, подожди.

И он вышел вслед за мастером и через минуту вернулся, подкидывая на руках новую буханку хлеба.

— Тепленькая, — сказал он, бросая буханку веснушчатому парню. — Из тридцаточки. А то вишь, хотел полубельым отделаться! Дайка сюда. — И, взяв в руки буханку, которую нам оставил мастер, кочегар распахнул дверцу котла и швырнул буханку в гудящий и воющий огонь. И, захлопнув дверцу, засмеялся. — Вот так-то, — весело сказал он, поворачиваясь к нам.

— Зачем это, — сказал я, — лучше бы мы с собой взяли.

— С собой мы еще дадим, — сказал кочегар.

Ни я, ни веснушчатый парень не могли разломить буханки.

— Нет ли у тебя ножа? — спросил я у кочегара.

— Нет. Да зачем нож?

Кочегар взял буханку в две руки и легко разломил ее. Горячий ароматный пар шел из разломанной ковриги. Кочегар ткнул пальцем в мякиш.

— Хорошо печет Федька, молодец, — похвалил он. Но нам не было времени доискиваться, кто такой Федька. Мы принялись за еду, обжигаясь и хлебом, и кипятком, в который мы замешивали повидло. Горячий пот лился с нас ручьем. Мы торопились — мастер вернулся за нами.

Он уже принес носилки, подтащил их к куче битого кирпичца, принес лопаты и сам насыпал первый ящик. Мы приступили к работе. И варут стало видно, что обоим нам носилки непосильно тяжелы, что они тянули жилы, а рука внезапно слабела, лишаясь сил. Кружилась голова, нас пошатывало. Следующие носилки грузил я и положил вдвое меньше первой ноши.

— Хватит, хватит, — сказал веснупчатый парень. Он был еще бледнее меня, или веснупшки подчеркивали его бледность.

— Отдохните, ребята, — весело и отнюдь не насмешливо сказал проходивший мимо пекарь, и мы покорно сели отдыхать. Мастер прошел мимо, но ничего нам не сказал.

Отдохнув, мы снова принялись за дело, но после каждых двух носилок садились снова — куча мусора не убывала.

— Покурите, ребята, — сказал тот же пекарь, снова появляясь.

— Табаку нету.

— Ну, я вам дам по сигарочке. Только надо выйти. Курить здесь нельзя.

Мы поделили махорку, и каждый закурил свою папиросу — роскошь, давно забытая. Я сделал несколько медленных затяжек, бережно потушил пальцем папиросу, завернул ее в бумажку и спрятал за пазуху.

— Правильно, — сказал веснупчатый парень. — А я и не подумал.

К обеденному перерыву мы освоились настолько, что заглядывали и в соседние комнаты с такими же пекарными печами. Везде из печей вылезали с визгом железные формы и листы, и на полках везде лежал хлеб, хлеб. Время от времени приезжала вагонетка на колесиках, выпеченный хлеб грузили и увозили куда-то, только не туда, куда нам нужно было возвращаться к вечеру, — это был белый хлеб.

В широкое окно без решеток было видно, что солнце переместилось к закату. Из дверей потянуло холодком. Пришел мастер.

— Ну, кончайте. Носилки оставьте на мусоре. Маловато сделали. Вам и за неделю не перетаскать этой кучи, работнички.

Нам дали по буханке хлеба, мы изломали его на куски, набили карманы... Но сколько могло войти в наши карманы?

— Прячь прямо в брюки, — командовал веснупчатый парень.

Мы вышли на холодный вечерний двор — партия уже строилась, — нас повели обратно. На лагерной вахте нас обыскивать не стали — в руках никто хлеба не нес. Я вернулся на свое место, разделил с соседями принесенный хлеб, лег и заснул, как только согрелись намочившие, застывшие ноги.

Всю ночь передо мной мелькали буханки хлеба и озорное лицо когегара, швырявшего хлеб в огненное жерло топки.

1956

ЗАКЛИНАТЕЛЬ ЗМЕЙ

Мы сидели на поваленной бурей огромной лиственнице. Деревья в краю вечной мерзлоты едва держатся за неудобную землю, и буря легко вырывает их с корнями и валит на землю. Платонов рассказывал мне историю своей здешней жизни — второй нашей жизни на этом свете.

Я нахмурился при упоминании прииска «Джанхара». Я сам побывал в местах дурных и трудных, но страшная слава «Джанхары» гремела везде.

— И долго вы были на «Джанхаре»?

— Год, — сказал Платонов негромко. Глаза его сузились, морщины обозначились резче — передо мной был другой Платонов, старше первого лет на десять.

— Впрочем, трудно было только первое время, два-три месяца. Там одни воры. Я был единственным... грамотным человеком там. Я им рассказывал, «гискал рóманы», как говорят на блатном жаргоне, рассказывал по вечерам Дюма, Конан Дойля, Уоллеса. За это они меня кормили, одевали, и я работал мало. Вы, вероятно, тоже в свое время использовали это единственное преимущество грамотности здесь?

— Нет, — сказал я, — нет. Мне это казалось всегда последним унижением, концом. За суп я никогда не рассказывал романов. Но я знаю, что это такое. Я слышал «романистов».

— Это — осуждение? — сказал Платонов.

— Ничуть, — ответил я. — Голодному человеку можно простить многое, очень многое.

— Если я останусь жив, — произнес Платонов священную фразу, которой начинались все размышления о времени дальше завтрашнего дня, — я напишу об этом рассказ. Я уже и название придумал: «Заклинатель змей». Хорошее?

— Хорошее. Надо только дожить. Вот — главное.

Андрей Федорович Платонов, киносценарист в своей первой жизни, умер недели через три после этого разговора, умер так, как умирали многие, — взмахнул кайлом, покачнулся и упал лицом на камни. Глюкоза внутривенно, сильные сердечные средства могли бы его вернуть к жизни — он хрипел еще час-полтора, но уже затих, когда подошли носилки из больницы, и санитары унесли в морг этот маленький труп — легкий груз костей и кожи.

Я любил Платонова за то, что он не терял интереса к той жизни за синими морями, за высокими горами, от которой нас отделяло столько верст и лет и в существование которой мы уже почти не верили или, вернее, верили так, как школьники верят в существование какой-нибудь Америки. У Платонова, бог весть откуда, бывали и книжки, и, когда было не очень холодно, например в июле, он избегал разговоров на темы, которыми жило все население, — какой будет или был на обед суп, будут ли давать хлеб трижды в день или сразу с утра, будет ли завтра дождь или ясная погода.

Я любил Платонова, и я попробую сейчас написать его рассказ «Заклинатель змей».

Конец работы — это вовсе не конец работы. После гудка надо еще собрать инструмент, отнести его в кладовую, сдать, построиться, пройти две из десяти ежедневных переключек под матерную брань конвоя,

под безжалостные крики и оскорбления своих же товарищей, пока еще более сильных, чем ты, товарищей, которые тоже устали и спешат домой и сердятся из-за всякой задержки. Надо еще пройти переключку, построиться и отправиться за пять километров в лес за дровами — ближний лес давно весь вырублен и сожжен. Бригада лесорубов заготавливает дрова, а шурфовые рабочие носят по бревнышку каждый. Как доставляются тяжелые бревна, которые не под силу взять даже двум людям, никто не знает. Автомшины за дровами никогда не посылаются, а лошади все стоят на конюшне по болезни. Лошадь ведь слабеет гораздо скорее, чем человек, хотя разница между ее прежним бытом и нынешним неизмеримо, конечно, меньше, чем у людей. Часто кажется, да так, наверное, оно и есть на самом деле, что человек потому и поднялся из звериного царства, стал человеком, то есть существом, которое могло придумать такие вещи, как наши острова со всей невероятностью их жизни, что он был физически выносливее любого животного. Не рука очеловечила обезьяну, не зародыш мозга, не душа — есть собаки и медведи, поступающие умней и нравственней человека. И не подчинением себе силы огня — все это было после выполнения главного условия превращения. При прочих равных условиях в свое время человек оказался значительно крепче и выносливей физически, только физически. Он был живуч как кошка — эта поговорка неверна. О кошке правильнее было бы сказать — эта тварь живуча, как человек. Лошадь не выносит месяца зимней здешней жизни в холодном помещении с многочасовой тяжелой работой на морозе. Если это не якутская лошадь. Но ведь на якутских лошадях и не работают. Их, правда, и не кормят. Они, как олени зимой, копытят снег и вытаскивают сухую прошлогоднюю траву. А человек живет. Может быть, он живет надеждами? Но ведь никаких надежд у него нет. Если он не дурак, он не может жить надеждами. Поэтому так много самоубийц. Но чувство самосохранения, цепкость к жизни, физическая именно цепкость, которой подчинено и сознание, спасает его. Он живет тем же, чем живет камень, дерево, птица, собака. Но он цепляется за жизнь крепче, чем они. И он выносливей любого животного.

О всем таком и думал Платонов, стоя у входных ворот с бревном на плече и ожидая новой переключки. Дрова принесены, сложены, и люди, теснясь, торопясь и ругаясь, вошли в темный бревенчатый барак.

Когда глаза привыкли к темноте, Платонов увидел, что вовсе не все рабочие ходили на работу. В правом дальнем углу на верхних нарах, перетаскив к себе единственную лампу, бензиновую коптилку без стекла, сидели человек семь-восемь вокруг двоих, которые, скрестив по-татарски ноги и положив между собой засаленную подушку, играли в карты. Дымящаяся коптилка дрожала, огонь удлинял и качал тени.

Платонов присел на край нар. Ломило плечи, колени, мускулы дрожали. Платонова только утром привезли на «Джанхару», и работал он первый день. Свободных мест на нарах не было.

«Вот все разойдутся, — подумал Платонов, — и я лягу». Он задремал.

Игра вверху кончилась. Черноволосый человек с усиками и большим ногтем на левом мизинце перевалился к краю нар.

— Ну-ка, позовите этого Ивана Ивановича, — сказал он.

Толчок в спину разбудил Платонова.

— Ты... Тебя зовут.

— Ну, где он, этот Иван Иванович? — звали с верхних нар.

— Я не Иван Иванович, — сказал Платонов, щурясь.

— Он не идет, Федечка.

— Как не идет?

Платонова вытолкали к свету.

— Ты думаешь жить? — спросил его негромко Федя, вращая мизинец с отрошенным грязным ногтем перед глазами Платонова.

— Думаю, — ответил Платонов.

Сильный удар кулаком в лицо сбил его с ног. Платонов поднялся и вытер кровь рукавом.

— Так отвечать нельзя, — ласково объяснил Федя. — Вас, Иван Иванович, в институте разве так учили отвечать?

Платонов молчал.

— Иди, тварь, — сказал Федя. — Иди и ложись к параше. Там будет твое место. А будешь кричать — удавим.

Это не было пустой угрозой. Уже дважды на глазах Платонова душили полотенцем людей — по каким-то своим воровским счетам. Платонов лег на мокрые вонючие доски.

— Скука, братцы, — сказал Федя, зевая, — хоть бы пятки кто почесал, что ли...

— Машка, а Машка, иди чеши Федечке пятки.

В полосу света вынырнул Машка, бледный хорошенький мальчик, вorenok лет восемнадцати.

Он снял с ног Федечки заношенные желтые полуботинки, бережно снял грязные рваные носки и стал, улыбаясь, чесать пятки Феде. Федя хихикал, вздрагивая от щекотки.

— Пошел вон, — вдруг сказал он. — Не можешь чесать. Не умеешь.

— Да я, Федечка...

— Пошел вон, тебе говорят. Скребет, царапает. Нежности нет никакой.

Окружающие сочувственно кивали головами.

— Вот был у меня на «Косом» жид — тот чесал. Тот, братцы мои, чесал. Инженер.

И Федя погрузился в воспоминания о жиде, который чесал пятки.

— Федя, а Федя, а этот, новый-то... Не хочешь попробовать?

— Ну его, — сказал Федя. — Разве такие могут чесать. А впрочем, подымите-ка его.

Платонова вывели к свету.

— Эй, ты, Иван Иванович, заправь-ка лампу, — распорядился Федя. — И ночью будешь дрова в печку подкладывать. А утром — парашку на улицу. Дневальный покажет, куда выливать...

Платонов молчал покорно.

— За это, — объяснял Федя, — ты получишь миску супчику. Я ведь все равно юшки-то не ем. Иди спи.

Платонов лег на старое место. Рабочие почти все спали, свернувшись по двое, по трое — так было теплее.

— Эх, скука, ночи длинные, — сказал Федя. — Хоть бы роман кто-нибудь тиснул. Вот у меня на «Косом»...

— Федя, а Федя, а этот, новый-то... Не хочешь попробовать?

— И то, — оживился Федя. — Подымите его.

Платонова подняли.

— Слушай, — сказал Федя, улыбаясь почти заискивающе, — я тут погорячился немного.

— Ничего, — сказал Платонов сквозь зубы.

— Слушай, а романы ты можешь тискать?

Огонь блеснул в мутных глазах Платонова. Еще бы он не мог. Вся камера следственной тюрьмы заслушивалась «Графом Дракулой» в его пересказе. Но там были люди. А здесь? Стать шутком при дворе миланского герцога, шутком, которого кормили за хорошую шутку и били за плохую? Есть ведь и другая сторона в этом деле. Он познакомит их с настоящей литературой. Он будет просветителем. Он разбудит в них интерес к художественному слову, он и здесь, на дне жизни, будет выполнять свое дело, свой долг. По старой привычке Платонов не хотел себе сказать, что просто он будет накормлен, будет получать лишний супчик не за вынос параша, а за другую, более благородную работу. Благородную ли? Это все-таки ближе к чесанию грязных пяток вора, чем к просветительству. Но голод, холод, побои...

Федя, напряженно улыбаясь, ждал ответа.

— М-могу, — выговорил Платонов и в первый раз за этот трудный день улыбнулся. — Могу тиснуть.

— Ах ты, милый мой! — Федя развеселился. — Иди, лезь сюда. На тебе хлебушка. Получше уж завтра покушаешь. Садись сюда, на одеяло. Закуривай.

Платонов, не куривший неделю, с болезненным наслаждением сосал махорочный окурочок.

— Как тебя звать-то?

— Андрей, — сказал Платонов.

— Так вот, Андрей, значит, что-нибудь подлинней, позабористей. Вроде «Графа Монте-Кристо». О тракторах не надо.

— «Отверженные», может быть? — предложил Платонов.

— Это о Жан Вальжане? Это мне на «Косом» тискали.

— Тогда «Клуб червонных валетов» или «Вампира»?

— Вот-вот. Давай валетов. Тише вы, твари... — Платонов откашлялся.

— В городе Санкт-Петербурге в тысяча восемьсот девяносто третьем году совершено было одно таинственное преступление...

Уже рассветало, когда Платонов окончательно обессилел.

— На этом кончается первая часть, — сказал он.

— Ну, здорово, — сказал Федя. — Как он ее. Ложись здесь с нами. Спать-то много не придется — рассвет. На работе поспишь. Набирайся сил к вечеру...

Платонов уже спал.

Выводили на работу. Высокий деревенский парень, проспавший вчерашних валетов, злобно толкнул Платонова в дверях.

— Ты, гадина, ходи да поглядывай.

Ему тотчас же зашептали что-то на ухо.

Строились в ряды, когда высокий парень подошел к Платонову.

— Ты Феде-то не говори, что я тебя ударил. Я, брат, не знал, что ты романист.

— Я не скажу, — ответил Платонов.

1954

ТАТАРСКИЙ МУЛЛА И ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Жара в тюремной камере была такая, что не было видно ни одной мухи. Огромные окна с железными решетками были распахнуты настежь, но это не давало облегчения — раскаленный асфальт двора посылал вверх горячие воздушные волны, и в камере было даже прохладней, чем на улице. Вся одежда была сброшена, и сотня голых тел, пышущих тяжелым влажным жаром, ворочалась, истекая потом, на полу — на нарах было слишком жарко. На комендатские проверки арестанты выстраивались в одних кальсонах, по часу торчали в уборных на оправке, бесконечно обливаясь холодной водой из умывальника. Но это помогало ненадолго. Подарники сделались вдруг обладателями лучших мест. Надо было готовиться в места «далеких таборив», и острили, по-тюремному, мрачно, что после пытки выпариванием их ждет пытка вымораживанием.

Татарский мулла, следственный арестант по знаменитому делу «Большой Татарии», о котором мы знали гораздо раньше того дня, когда об этом намекнули газеты, крепкий шестидесятилетний сангвиник, с мощной грудью, поросшей седыми волосами, с живым взглядом темных

круглых глаз, говорил, беспрерывно вытирая мокрой тряпочкой лысый лоснящийся череп:

— Только бы не расстреляли. А дадут десять лет — чепуха. Тому этот срок страшен, кто собирается жить до сорока лет. А я собираюсь жить до восьмидесяти.

Мулла взбегал на пятый этаж без одышки, возвращаясь с прогулки.

— Если дадут больше десяти, — продолжал он раздумывать, — то в тюрьме я проживу еще лет двадцать. А если в лагере, — мулла помолчал, — на чистом воздухе, то — десять.

Я вспомнил этого бодрого и умного муллу сегодня, когда перечитывал «Записки из Мертвого дома». Мулла знал, что такое «чистый воздух».

Морозов и Фигнер пробыли в Шлиссельбургской крепости при строжайшем тюремном режиме по двадцать лет и вышли вполне трудоспособными людьми. Фигнер нашла силы для дальнейшей активной работы в революции, затем написала десятитомные воспоминания о перенесенных ужасах, а Морозов написал ряд известных научных работ и женился по любви на какой-то гимназистке.

В лагере для того, чтобы здоровый молодой человек, начав свою карьеру в золотом забое на чистом зимнем воздухе, превратился в доходягу, нужен срок по меньшей мере от двадцати до тридцати дней при шестнадцатичасовом рабочем дне, без выходных, при систематическом голоде, рваной одежде и ночевке в шестидесятиградусный мороз в дырявой брезентовой палатке, побоях десятников, старост из блатарей, конвоя. Эти сроки многократно проверены. Бригады, начинающие золотой сезон и носящие имена своих бригадиров, не сохраняют к концу сезона ни одного человека из тех, кто этот сезон начал, кроме самого бригадира, дневального бригады и кого-либо еще из личных друзей бригадира. Остальной состав бригады меняется за лето несколько раз. Золотой забой беспрерывно выбрасывает отходы производства в больницы, в так называемые оздоровительные команды, в инвалидные горстки и на братские кладбища.

Золотой сезон начинается пятнадцатого мая и кончается пятнадцатого сентября — четыре месяца. О зимней же работе и говорить не приходится. К лету основные забойные бригады формируются из новых людей, еще здесь не зимовавших.

Арестанты, получившие срок, рвались из тюрьмы в лагерь. Там — работа, здоровый деревенский воздух, досрочные освобождения, переписка, посылки от родных, денежные заработки. Человек всегда верит в лучшее. У щели дверей теплушки, в которой нас везли на Дальний Восток, день и ночь толкались пассажиры-этапники, упоенно вдыхая прохладный, пропитанный запахом полевых цветов тихий вечерний воздух, приведенный в движение ходом поезда. Этот воздух был не похож на спертый, пахнущий карболкой и человеческим потом воздух тюремной камеры, ставшей ненавистной за много месяцев следствия.

В этих камерах оставляли воспоминания о поруганной и растоптанной чести, воспоминания, которые хотелось забыть.

По простоте душевной люди представляли следственную тюрьму самым жестоким переживанием, так круто перевернувшим их жизнь. Именно арест был для них самым сильным нравственным потрясением. Теперь, вырвавшись из тюрьмы, они подсознательно хотели верить в свободу, пусть относительную, но все же свободу, жизнь без проклятых решеток, без унижительных и оскорбительных допросов. Начиналась новая жизнь без того напряжения воли, которое требовалось всегда для допроса во время следствия. Они чувствовали глубокое облегчение от сознания того, что все уже решено бесповоротно, приговор получен, не нужно думать, что именно отвечать следователю, не нужно волноваться за родных, не нужно строить планов жизни, не нужно бороться за кусок хлеба — они уже в чужой воле, уже ничего нельзя изменить, никуда нельзя повернуть с этого блестящего железнодорожного пути, медленно, но неуклонно ведущего их на Север.

Поезд шел навстречу зиме. Каждая ночь была холоднее прежней, жирные зеленые листья тополей здесь были уже тронуты светлой желтизной. Солнце уже не было таким жарким и ярким, как будто его золотую силу впитали, всосали в себя листья кленов, тополей, берез, осин. Листья сами сверкали теперь солнечным светом. А бледное, малокровное солнце не нагревало даже вагона, большую часть дня прячась за теплые сизые тучки, еще не пахнувшие снегом. Но и до снега было недалеко.

Пересылка — еще один маршрут к Северу. Приморская бухта их встретила небольшой метелью. Снег еще не ложился — ветер сметал его с промороженных желтых обрывов в ямы с мутной, грязной водой. Сетка метели была прозрачна. Снегопад был редок и похож на рыболовную сеть из белых ниток, накинутую на город. Над морем снег вовсе не был виден — темно-зеленые гривастые волны медленно набегали на позеленелый скользкий камень. Пароход стал на рейде и сверху казался игрушечным, и даже когда на катере их подвезли к самому борту и они один за другим взбирались на палубу, чтобы сразу разойтись и исчезнуть в горловинах трюмов, пароход был неожиданно маленьким, слишком много воды окружало его.

Через пять суток их выгрузили на суровом и мрачном таежном берегу, и автомашины развезли их по тем местам, где им предстояло жить — и выжить.

Здоровый деревенский воздух они оставили за морем. Здесь их окружал напитанный испарениями болот разреженный воздух тайги. Сопки были покрыты болотным покровом, и только лысины безлесных сопок сверкали голым известняком, отполированным бурями и ветрами. Нога тонула в топком мхе, и редко за летний день ноги были сухими. Зимой

все леденело. И горы, и реки, и болота зимой казались каким-то одним существом, зловещим и недружелюбным.

Летом воздух был слишком тяжел для сердечников, зимой невыносим. В большие морозы люди прерывисто дышали. Никто здесь не бегал бегом, разве только самые молодые, и то не бегом, а как-то вприпрыжку.

Тучи комаров облепляли лицо — без сетки было нельзя сделать шага. А на работе сетка душила, мешала дышать. Поднять же ее было нельзя из-за комаров.

Работали тогда по шестнадцать часов, и нормы были рассчитаны на шестнадцать часов. Если считать, что подъем, завтрак, и развод на работу, и ходьба на место ее занимают полтора часа минимум, обед — час и ужин вместе со сбором ко сну полтора часа, то на сон после тяжелой физической работы на воздухе оставалось всего четыре часа. Человек засыпал в ту самую минуту, когда переставал двигаться, умудрялся спать на ходу или стоя. Недостаток сна отнимал больше силы, чем голод. Невыполнение нормы грозило штрафным пайком — триста граммов хлеба в день и без баланды.

С первой иллюзией было покончено быстро. Это — иллюзия работы, того самого труда, о котором на воротах всех лагерных отделений находилась предписанная лагерным уставом надпись: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Лагерь же мог прививать и прививал только ненависть и отвращение к труду.

Раз в месяц лагерный почтальон увозил накопившуюся почту в цензуру. Письма с материка и на материк шли по полгода, если вообще шли. Посылки выдавались только тем, кто выполняет норму, остальные подвергались конфискации. Все это не носило характера произвола, отнюдь. Об этом читались приказы, в особо важных случаях заставляли всех поголовно расписываться. Это не было дикой фантазией какого-то дегенерата начальника, это был приказ высшего начальства.

Но даже если кем-либо посылки и получались, — можно было пообещать какому-нибудь воспитателю половину, а половину все же получить, — то нести такую посылку было некуда. В бараке давно ждали блатные, чтобы отнять на глазах у всех и поделиться со своими Ванечками и Сенечками. Посылку надо было или сразу съесть, или продать. Покупателей было сколько угодно — десятники, начальники, врачи.

Был и третий, самый распространенный выход. Многие отдавали хранить посылки своим знакомым по лагерю или тюрьме, работавшим на каких-либо должностях и работах, где можно было запереть и спрятать. Или давали кому-либо из вольнонаемных. И в том и в другом случае всегда был риск — никто не верил в добросовестность хозяев, — но это была единственная возможность спасти полученное.

Денег не платили вовсе. Ни копейки. Платили только лучшим бригадам, и то пустяки, которые не могли дать им серьезной помощи. Во

многих бригадах бригадиры делали так: выработку бригады записывали на два-три человека, давая им перевыполненный процент, за что полагалась денежная премия. На остальные двадцать-тридцать человек в бригаде полагался штрафной паек. Это было остроумным решением. Если бы на всех заработок был поделен поровну, никто не получил бы ни копейки. А тут получали два-три человека, выбираемые совсем случайно, часто даже без участия бригадира в составлении ведомости.

Все знали, что нормы невыполнимы, что заработка нет и не будет, и все же за десятником ходили, интересовались выработкой, бежали встречать кассира, ходили в контору за справками.

Что это такое? Есть ли это желание обязательно выдать себя за работягу, поднять свою репутацию в глазах начальства, или это просто какое-то психическое расстройство на фоне упадка питания? Последнее более верно.

Светлая, чистая, теплая следственная тюрьма, которую так недавно и так бесконечно давно они покинули, всем, неукоснительно всем казалась отсюда лучшим местом на земле. Все тюремные обиды были забыты, и все с увлечением вспоминали, как они слушали лекции настоящих ученых и рассказы бывалых людей, как они читали книги, как они спали и ели досыта, ходили в чудесную баню, как получали они передачи от родственников, как они чувствовали, что семья вот здесь, рядом, за двойными железными воротами, как они говорили свободно, о чем хотели (в лагере за это полагался дополнительный срок заключения), не боясь ни шпионов, ни надзирателей. Следственная тюрьма казалась им свободнее и родней родного дома, и не один говорил, размечтавшись на больничной койке, хотя оставалось жить немного: «Я бы хотел, конечно, повидать семью, уехать отсюда. Но еще больше мне хотелось бы попасть в камеру следственной тюрьмы — там было еще лучше и интересней, чем дома. И я рассказал бы теперь всем новичкам, что такое «чистый воздух».

Если ко всему этому прибавить чуть не поголовную цингу, вырвавшуюся, как во времена Беринга, в грозную и опасную эпидемию, уносившую тысячи жизней; дизентерию, ибо ели что попало, стремясь только наполнить ноющий желудок, собирая кухонные остатки с мусорных куч, густо покрытых мухами; пеллагру — эту болезнь бедняков, истощение, после которого кожа на ладонях и стопах слезала с человека, как перчатка, а по всему телу шелушилась крупным круглым лепестком, похожим на дактилоскопические отпечатки, и, наконец, знаменитую алиментарную дистрофию — болезнь голодных, которую только после ленинградской блокады стали называть своим настоящим именем. До того времени она носила разные названия: РФИ — таинственные буквы в диагнозах историй болезни, переводимые как резкое физическое истощение, или, чаще, полиавитаминоз, чудное латинское название, говорящее о недостатке нескольких витаминов в организме человека

и успокаивающее врачей, нашедших удобную и законную латинскую формулу для обозначения одного и того же — голода.

Если вспомнить неотопливаемые, сырые бараки, где во всех щелях изнутри намерзал толстый лед, будто какая-то огромная стеариновая свеча оплыла в углу барака... Плохая одежда и голодный паек, отморожения, а отморожение — это ведь мученье навек, если даже не прибегать к ампутациям. Если представить, сколько при этом должно было появиться и появлялось гриппа, воспаления легких, всяческих простуд и туберкулеза в болотистых этих горах, губительных для сердечника. Если вспомнить эпидемии саморубов-членовредителей. Если принять во внимание и огромную моральную подавленность, и безнадежность, то легко увидеть, насколько чистый воздух был опаснее для здоровья человека, чем тюрма.

Поэтому нет нужды полемизировать с Достоевским насчет преимущества «работы» на каторге по сравнению с тюремным бездельем и достоинствами «чистого воздуха». Время Достоевского было другим временем, и каторга тогдашняя еще не дошла до тех высот, о которых здесь рассказано. Об этом заранее трудно составить верное представление, ибо все тамошнее слишком необычайно, невероятно, и бедный человеческий мозг просто не в силах представить в конкретных образах тамошнюю жизнь, о которой смутное, неуверенное понятие имел наш тюремный знакомый — татарский мулла.

1955

ПЕРВАЯ СМЕРТЬ

Много я видел человеческих смертей на Севере — пожалуй, даже слишком много для одного человека, но первую виденную смерть я запомнил ярче всего.

Той зимой пришлось нам работать в ночной смене. Мы видели на черном небе маленькую светло-серую луну, окруженную радужным нимбом, заживавшимся в большие морозы. Солнце мы не видели вовсе — мы приходили в бараки (не домой — домом их никто не называл) и уходили из них затемно. Впрочем, солнце показывалось так ненадолго, что не могло успеть даже разглядеть землю сквозь белую плотную марлю морозного тумана. Где находится солнце, мы определяли по догадке — ни света, ни тепла не было от него.

Ходить в забой было далеко — два-три километра, и путь лежал посреди двух огромных, трехсаженных снежных валов; нынешней зимой были большие снежные заносы, и после каждой метели прииск отребался. Тысячи людей с лопатами выходили чистить эту дорогу, чтобы дать проход автомашинам. Всех, кто работал на расчистке пути, окружали сменным конвоем с собаками и целыми сутками держали на работе,

не разрешая ни погреться, ни поесть в тепле. На лошадях привозили примороженные пайки хлеба, иногда, если работа затягивалась, консервы — по одной банке на двух человек. На тех же лошадях отвозили в лагерь больных и ослабевших. Людей отпускали только тогда, когда работа была сделана, с тем чтобы они могли выспаться и снова идти на мороз для своей «настоящей» работы. Я заметил тогда удивительную вещь — тяжело и мучительно трудно в такой многочасовой работе бывает только первые шесть-семь часов. После этого теряешь представление о времени, подсознательно следя только за тем, чтобы не замерзнуть: топчешься, машешь лопатой, не думая вовсе ни о чем, ни на что не надеясь.

Окончание этой работы бывает всегда неожиданностью, внезапным счастьем, на которое ты как будто никак и не смел рассчитывать. Все веселы, шумны, и на какое-то время будто нет ни голода, ни смертельной усталости. Наскоро построаясь в ряды, все весело бегут «домой». А по бокам поднимаются валы огромной снеговой траншеи, валы, отрезающие нас от всего мира.

Метели давно уже не было, и пухлый снег осел, поплотнел и казался еще мощнее и тверже. По гребню вала можно было пройти не проваливаясь. Оба вала в нескольких местах были прорезаны перекрестной дорогой.

Часам к двум ночи мы приходили обедать, наполняя барак шумом намерзшихся людей, лязгом лопат, громким говором людей, вошедших с улицы, говором, который лишь постепенно стихает и глохнет, возвращаясь к обычной человеческой речи. Ночью обед был всегда в бараке, а не в мерзлой столовой с выбитыми стеклами, столовой, которую все ненавидели. После обеда те, у кого была махорка, закуривали, а тем, кто махорки не имел, товарищи оставляли покурить, и в общем выходило так, что «задохнуться» успевал каждый.

Наш бригадир, Коля Андреев, бывший директор МТС, а сущий заключенный, осужденный на десять лет по модной пятьдесят восьмой статье, ходил всегда впереди бригады и всегда быстро. Бригада наша была бесконвойная. Конвоя в те времена не хватало — этим и объяснялось доверие начальства. Однако сознание своей особенности, бесконвойности для многих было не последним делом, как это ни наивно. Бесконвойное хождение на работу всем по-серьезному нравилось, составляло предмет гордости и похвалы. Бригада действительно и работала лучше, чем потом, когда конвоя стало достаточно и андреевская бригада была уравнена в правах со всеми остальными.

Нынешней ночью Андреев вел нас новой дорогой — не низом, а прямо по хребту снежного вала. Мы видели мерцанье золотых огней прииска, темную громаду леса влево и сливавшиеся с небом далекие вершины сопки. Впервые ночью мы видели свое жилье издали.

Дойдя до перекрестка, Андреев вдруг круто повернул вправо и сбегал вниз прямо по снегу. За ним, покорно повторяя его непонятные движения, посыпались гурьбой вниз люди, гремя ломами, кайлами, лопатами; инструмент никогда не оставляли на работе, там его крали, а за потерю инструмента грозил штраф.

В двух шагах от перекрестка дороги стоял человек в военной форме. Он был без шапки, короткие темные волосы его были взъерошены, пересыпаны снегом, шинель расстегнута. Еще дальше, заведенная прямо в глубокий снег, стояла лошадь, запряженная в легкие сани-кошевку.

А около ног этого человека лежала навзничь женщина. Шубка ее была распахнута, пестрое платье измято. Около головы ее валялась скомканная черная шаль. Шаль была втоптана в снег, так же как и светлые волосы женщины, казавшиеся почти белыми в лунном свете. Худенькое горло было открыто, и на шее справа и слева проступали овальные темные пятна. Лицо было белым, без кровинки, и, только взглядевшись, я узнал Анну Павловну, секретаршу начальника нашего прииска.

Мы все знали ее в лицо хорошо — на прииске женщин было очень мало. Месяцев шесть назад, летом, она проходила вечером мимо нашей бригады, и восхищенные взгляды арестантов провожали ее худенькую фигуру. Она улыбнулась нам и показала рукой на солнце, уже отяжелевшее, спускавшееся к закату.

— Скоро уже, ребята, скоро! — крикнула она.

Мы, как и лагерные лошади, весь рабочий день думали только о минуте его окончания. И то, что наши немудреные мысли были так хорошо поняты, и притом такой красивой, по нашим тогдашним понятиям, женщиной, растрогало нас. Анну Павловну наша бригада любила.

Сейчас она лежала перед нами мертвая, удушенная пальцами человека в военной форме, который растерянно и дико озирался вокруг. Его я знал гораздо лучше. Это был наш приисковый следователь Штеменко, который «дал дела» многим из заключенных. Он неутомимо допрашивал, нанимал за махорку или миску супа ложных свидетелей-клеветников, вербуя их из голодных заключенных. Некоторых он уверял в государственной необходимости лжи, некоторым угрожал, некоторых подкупал. Он не давал себе труда раньше ареста нового следственного познакомиться с ним, вызвать его к себе, хотя все жили на одном прииске. Готовые протоколы и побои ждали арестованного в следственном кабинете.

Штеменко был именно тот начальник, который при посещении нашего барака месяца три назад изломал все арестантские котелки, сделанные из консервных банок, — в них варили все, что можно сварить и съесть. В них носили обед из столовой, чтобы съесть его сидя, и съесть горячим, разогрев в своем бараке на печке. Поборник чистоты и дисциплины, Штеменко потребовал кайло и собственноручно пробил днища консервных банок.

Сейчас он, заметив Андреева в двух шагах от себя, схватился за кобур-пу пустил, но, увидев толпу людей, вооруженных ломом и кайлами, так и не выгасил оружия. Но ему уже крутили руки. Это делалось со страстью — узел затянули так, что веревку потом разрезать пришлось ножом.

Труп Анны Павловны положили в кошевку и двинулись в поселок, к дому начальника прииска. С Андреевым туда пошли не все — многие бросились скорей в барак, к супу.

Долго не отпирал начальник, разглядев сквозь стекло толпу арестантов, собравшихся у дверей его дома. Наконец Андрееву удалось объяснить, в чем дело, и он, вместе со связанным Штеменко и двумя заключенными, вошел в дом.

Обедали мы в эту ночь очень долго. Андреева водили куда-то давать показания. Но потом он пришел, скомандовал, и мы пошли на работу.

Штеменко вскоре осудили на десять лет за убийство из ревности. Наказание было минимальным. Судили его на нашем же прииске и после приговора куда-то увезли. Бывших лагерных начальников в таких случаях содержат где-то особо — никто никогда не встречал их в обычных лагерях.

1956

ТЕТЯ ПОЛЯ

Тетя Поля умерла в больнице от рака желудка в возрасте пятидесяти двух лет. Вскрытие подтвердило диагноз лечащего врача. Впрочем, в нашей больнице патологоанатомический диагноз редко расходился с клиническим — так бывает в самых лучших и самых плохих больницах.

Фамилию тети Поли знали только в конторе. Не помнила подлинной фамилии даже жена начальника, у которого тетя Поля семь лет была «дневальной», то есть прислугой.

Все знают, кто такой дневальный или дневальная, но не все знают, кем они могут быть. Доверенное лицо недоступного властителя тысяч человеческих судеб; свидетель его слабостей, его темных сторон. Человек, знающий теневые стороны дома. Раб, но и неприменный участник подводной, подземной квартирной войны; участник или, по крайней мере, наблюдатель домашних сражений. Негласный арбитр в ссорах мужа и жены. Ведущий хозяйство семьи начальника, умножающий его богатство, и не только экономией и честностью. Один такой дневальный торговал в пользу начальника махорочными папиросами, продавая их заключенным по десять рублей папироса. Лагерная палата мер и весов установила, что в спичечную коробку входит махорки на восемь папирос, а восьмушка махорки состоит из восьми таких спичечных ко-

робочек. Эти меры сыпучих тел действуют на 1/8 территории Советского Союза — во всей Восточной Сибири.

Наш дневальный выручал за каждую пачку махорки шестьсот сорок рублей. Но и эта цифра не была, как говорится, пределом. Можно было насыпать неполные коробочки — разница на взгляд почти незаметна, да и ссориться с дневальным начальника никто не захочет. Можно было вертеть более тонкие папиросы. Вся закрутка — дело рук и совести дневального. Наш дневальный скупал у начальника махорку по пятьсот рублей за пачку. Стосорокарублевая разница шла в карман дневального.

Хозяин тети Поли махоркой не торговал, и вообще никакими темными делами тете Поле у него заниматься не приходилось. Тетя Поля была великая стряпуха, а дневальные, сведущие в кулинарии, ценились особенно дорого. Тетя Поля могла взяться — и действительно бралась — устроить кого-либо из земляков-украинцев на легкую работу или включить в какой-нибудь список на освобождение. Помощь тети Поли своим землякам была весьма серьезной. Другим она не помогала, разве только советом.

Тетя Поля работала у начальника седьмой год и думала, что и все свои десять «рокив» проживет безбедно.

Тетя Поля была расчетливой бесребреницей и справедливо полагала, что ее равнодушие к подаркам, к деньгам не может не прийти по душе любому начальнику. Расчеты ее оправдались. Она была своим человеком в семье начальника, и уже был намечен план ее освобождения — она должна была числиться грузчицей автомашины на прииске, где работал брат начальника, и прииск ходатайствовал бы о ее освобождении.

Но тетя Поля заболела, ей становилось все хуже, и ее отвезли в больницу. Главный врач распорядился, чтобы тете Поле отвели отдельную палату. Десять полутрупов вытащили в холодный коридор, чтобы освободить место дневальной начальника.

Больница оживилась. Ежедневно во второй половине дня приезжали «Виллиссы», приезжали грузовики; из кабин выходили дамы в тулупах, выходили военные — все стремились к тете Поле. И тетя Поля обещала каждому: если выздоровеет — замолвит словечко начальнику.

Каждое воскресенье лимузин «ЗИС-110» въезжал в больничные ворота — тете Поле везли посылочку, записочку от жены начальника.

Тетя Поля отдавала все санитаркам, попробует ложечку и отдаст. Болельщицу свою она знала.

Но выздороветь тетя Поля не могла. И вот однажды в больницу явился с запиской начальника необычный посетитель — отец Петр, как он назвал себя нарядчику. Оказывается, тетя Поля желала исповедаться.

Необычный посетитель был Петька Абрамов. Его все знали. Он даже лежал в этой больнице несколько месяцев назад. А сейчас это был отец Петр.

Визит преподобного взволновал всю больницу. Оказывается, в наших краях есть священники! И они исповедуют желающих! В самой большой палате больничной — палате номер два, где между обедом и ужином ежедневно рассказывался кем-либо из больных гастрономический рассказ, во всяком случае, не для улучшения аппетита, а из-за потребности голодного человека в возбуждении пищевых эмоций, — в этой палате говорили только об исповеди тети Поли.

Отец Петр был в кепке, в бушлате. Ватные его брюки заправлены в кирзовые старенькие сапоги. Волосы были острижены коротко — для лица духовного звания гораздо короче, чем волосы стилига пятидесятих годов. Отец Петр расстегнул бушлат и телогрейку — стала видна голубая косоворотка и большой наперсный крест. Это был не простой крест, а распятие — только самодельное, выточенное умелой рукой, но без необходимых инструментов.

Отец Петр исповедал тетю Полю и ушел. Он долго стоял на шоссе, поднимая руки, когда приближались грузовики. Две машины прошли не останавливаясь. Тогда отец Петр вынул из-за пазухи готовую, свернутую папиросу, поднял ее над головой, и первая же машина затормозила, шофер гостеприимно открыл дверцу кабины.

Тетя Поля умерла, и похоронили ее на больничном кладбище. Это было большое кладбище под горой (вместо «умереть» больные говорили «попасть под сопку») с братскими могилами «А», «Б», «В» и «Г», несколькими хордообразными линиями могил-одиночек. Ни начальника, ни его супруги, ни отца Петра не было на похоронах тети Поли. Обряд похорон был обычным: нарядчик навязал на левую голень тети Поли деревянную бирку с номером. Это был номер личного дела. По инструкции номер должен быть написан простым черным карандашом, а отнюдь не химическим, как и на лесных топографических реперах-затесах.

Привычные могильщики-санитары закидали камнями сухонькое тело тети Поли. Нарядчик укрепил в камнях палочку — опять с тем же номером личного дела.

Прошло несколько дней, и в больницу явился отец Петр. Он уже побывал на кладбище и сейчас гремел в конторе:

— Крест надо поставить. Крест.

— Еще чего, — ответил нарядчик.

Ругались они долго. Наконец отец Петр объявил:

— Даю вам неделю срока. Если за эту неделю крест не будет поставлен, буду жаловаться на вас начальнику управления. Тот не поможет — буду писать начальнику Дальстроя. Тот откажет — буду жаловаться на него в Совнарком. Совнарком откажет — в Синод напишу, — орал отец Петр.

Нарядчик был старым арестантом и хорошо знал «страну чудес»: он знал, что там могут случаться самые неожиданные вещи. И, подумав, он решил доложить обо всей истории главному врачу.

Главный врач, когда-то бывший не то министром, не то заместителем министра, посоветовал не спорить и поставить крест на могиле тети Поли.

— Если поп так уверенно говорит, значит, тут что-то есть. Он что-то знает. Все может быть, все может быть, — бормотал бывший министр.

Поставили крест, первый крест на этом кладбище. Его было далеко видно. И хотя он был единственным, все это место приняло настоящий кладбищенский вид. Все ходячие больные ходили смотреть на этот крест. И досочка была прибита с надписью в траурной рамке. Сделать надпись поручили старику художнику, который уже второй год лежал в больнице. Он, собственно, не лежал, а только числился на койке, а все свое время тратил на массовое производство трех видов копий: «Золотая осень», «Три богатыря» и «Смерть Иоанна Грозного». Художник клялся, что может писать эти копии с закрытыми глазами. Заказчиками его было все поселковое и больничное начальство.

Но досочку на крест тети Поли художник согласился сделать. Он спросил, что надо писать. Нарядчик порылся в своих списках.

— Ничего не нахожу, кроме инициалов, — сказал он. — Тимошенко П. И. Пиши: Полина Ивановна. Умерла такого-то числа.

Художник, никогда с заказчиками не споривший, так и написал. А ровно через неделю явился Петька Абрамов, то есть отец Петр. Он сказал, что тети Полю зовут не Полина, а Прасковья, и не Ивановна, а Ильинична. Он сообщил дату ее рождения и потребовал вставить ее в могильную надпись. Надпись исправили в присутствии отца Петра.

1958

ГАЛСТУК

Как рассказать об этом проклятом галстук?

Это правда особого рода, это правда действительности. Но это не очерк, а рассказ. Как мне сделать его вещью прозы будущего — чем-либо вроде рассказов Сент-Экзюпери, открывшего нам воздух.

В прошлом и настоящем для успеха необходимо, чтобы писатель был кем-то вроде иностранца в той стране, о которой он пишет. Чтобы он писал с точки зрения людей, — их интересов, кругозора, — среди которых он вырос и приобрел привычки, вкусы, взгляды. Писатель пишет на языке тех, от имени которых он говорит. И не больше. Если же писатель знает материал слишком хорошо, те, для кого он пишет, не поймут писателя. Писатель изменил, перешел на сторону своего материала.

Не надо знать материал слишком. Таковы все писатели прошлого и настоящего, но проза будущего требует другого. Заговорят не писатели, а люди профессии, обладающие писательским даром. И они расскажут только о том, что знают, видели. Достоверность — вот сила литературы будущего.

А может быть, рассуждения здесь ни к чему и самое главное — постараться вспомнить, во всем вспомнить Марусю Крюкову, хромую девушку, которая травилась вероналом, скопила несколько блестящих крошечных желтеньких яйцеобразных таблеток и проглотила их. Веронал она выменяла на хлеб, на кашу, на порцию селедки у соседок по палате, коим был прописан веронал. Фельдшера знали о торговле вероналом и заставляли больных глотать таблетку на глазах, но корочка у таблетки была жесткая, и обычно больным удавалось заложить веронал за щеку или под язык и после ухода фельдшера выплюнуть на собственную ладонь.

Маруся Крюкова не рассчитала дозы. Она не умерла, ее просто вырвало, и после оказанной помощи — промывания желудка — Марусю выписали на пересылку. Но все это было много позже истории с гапстукком.

Маруся Крюкова приехала из Японии в конце тридцатых годов. Дочь эмигранта, жившего на окраине Киото, Маруся с братом вступила в союз «Возвращение в Россию», связалась с советским посольством и в 1939 году получила въездную русскую визу. Во Владивостоке Маруся была арестована вместе со своими товарищами и с братом, увезена в Москву и больше никогда никого из друзей своих не встречала.

На следствии Марусе сломали ногу и, когда кость срослась, увезли на Колыму — отбывать двадцатипятилетний срок заключения. Маруся была великая рукодельница, мастерица вышивки — на эти вышивки и жила Марусина семья в Киото.

На Колыме это умение Маруси обнаружили начальники сразу. Ей никогда не платили за вышивки: либо принесут кусок хлеба, два куска сахара, папиросы, — Маруся, впрочем, не научилась курить. И ручная вышивка чудной работы стоимостью в несколько сотен рублей оставалась в руках начальства.

Услышав о способностях заключенной Крюковой, начальница санчасти положила Марусю в больницу, и с этого времени Маруся вышивала врачихе.

Когда пришла телефонограмма в совхоз, где Маруся работала, чтобы всех мастериц-рукодельниц направить попутной машиной в распоряжение... начальник лагеря спрятал Марусю — у жены был большой заказ для мастерицы. Но кто-то немедленно написал высшему начальству донос, и Марусю пришлось отправить. Куда?

Две тысячи километров тянется, вьется центральная колымская трасса — шоссе среди сопок, ущелий, столбики, рельсы, мосты... Рельсов на колымской трассе нет. Но все повторяли и повторяют здесь некрасовскую «Железную дорогу» — зачем сочинять стихи, когда есть вполне пригодный текст. Дорога построена вся от кайла и лопаты, от тачки и бура...

Через каждые четыреста-пятьсот километров на трассе стоит «дом дирекции», сверхроскошный отель люкс, находящийся в личном распоряжении директора Дальстроя, сиречь генерал-губернатора Колымы. Только он, во время своих поездок по вверенному ему краю, может там ночевать. Дорогие ковры, бронза и зеркала. Картины-подлинники — немало имен живописцев первого ранга, вроде Шухаева. Шухаев был на Колыме десять лет. В 1957 году на Кузнецком мосту была выставка его работ, его книга жизни. Она началась светлыми пейзажами Бельгии и Франции, автопортретом в золотом камзоле Арлекина. Потом магаданский период: два небольших портрета маслом — портрет жены и автопортрет в мрачной темно-коричневой гамме, две работы за десять лет. На портретах — люди, увидевшие страшное. Кроме этих двух портретов — эскизы театральных декораций.

После войны Шухаева освобождают. Он едет в Тбилиси — на юг, на юг, унося ненависть к Северу. Он сломлен. Он пишет картину «Клятва Сталина в Гори» — подхалимскую. Он сломлен. Портреты ударников, передовиков производства. «Дама в золотом платье». Меры блеска в портрете этом нет — кажется, художник заставляет себя забыть о скудости северной палитры. И все. Можно умирать.

Для «дома дирекции» художники писали и копии: «Иван Грозный убивает своего сына», пишкінское «Утро в лесу». Эти две картины — классика халтуры.

Но самое удивительное там были вышивки. Шелковые занавеси, шторы, портьеры были украшены ручной вышивкой. Коврики, накидки, полотенца — любая тряпка становилась драгоценной после того, как побывала в руках заключенных мастериц.

Директор Дальстроя ночевал в своих «домах» — их было несколько на трассе — два-три раза в год. Все остальное время его ждали сторож, завхоз, повар и заведующий «домом», четыре человека из вольнонаемных, получающих процентные надбавки за работу на Крайнем Севере, ждали, готовились, топили печи зимой, проветривали «дом».

Вышивать занавеси, накидки и все, что задумают, привезли сюда Машу Крюкову. Были еще две мастерицы, равные Маше по уменью и выдумке. Россия — страна проверок, страна контроля. Мечта каждого доброго россиянина — и заключенного, и вольнонаемного, — чтобы его поставили что-нибудь, кого-нибудь проверять. Во-первых: я над

кем-то командир. Во-вторых: мне оказано доверие. В-третьих: за такую работу я меньше отвечаю, чем за прямой труд. А в-четвертых: помните атаку «В окопах Сталинграда» Некрасова.

Над Машей и ее новыми знакомыми была поставлена женщина, член партии, выдававшая ежедневно мастерицам материал и нитки. К концу рабочего дня она отбирала работу и проверяла сделанное. Женщина эта не работала, а проходила по штатам центральной больницы как старшая операционная сестра. Она караулила тщательно, уверенная в том, что только отвернишь — и кусок тяжелого синего шелка исчезнет.

Мастерицы привлекли давно к такой охране. И хотя обмануть эту женщину не составило бы, верно, труда, они не воровали. Все трое были осуждены по пятьдесят восьмой статье.

Мастериц поместили в лагере, в зоне, на воротах которой, как на всех лагерных зонах Союза, были начертаны незабываемые слова: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». И фамилия автора цитаты... Цитата звучала иронически, удивительно подходя к смыслу, к содержанию слова «труд» в лагере. Труд был чем угодно, только не делом славы. В 1906 году издательством, в котором участвовали эсеры, была выпущена книжка «Полное собрание речей Николая II». Это были перепечатки из «Правительственного вестника» в момент коронации царя и состояли из заздравных тостов: «Пью за здоровье Кексгольмского полка», «Пью за здоровье молодых-черниговцев».

Заздравным тостам было предпослано предисловие, выдержанное в ура-патриотических тонах: «В этих словах как в капле воды отражается вся мудрость нашего великого монарха», — и т. д.

Составители сборника были сосланы в Сибирь.

Что было с людьми, поднявшими цитату о труде на ворота лагерных зон всего Советского Союза?..

За отличное поведение и успешное выполнение плана мастерицам разрешили смотреть кино во время сеансов для заключенных.

Сеансы для вольнонаемных немного по своим порядкам отличались от кино для заключенных.

Киноаппарат был один — между частями были перерывы.

Однажды показывали фильм «На всякого мудреца довольно простоты». Кончилась первая часть, зажегся, как всегда, свет и, как всегда, погас, и послышался треск киноаппарата — желтый луч дошел до экрана.

Все затопали, закричали. Механик явно ошибся — показывали снова первую часть. Триста человек: здесь были фронтовики с орденами, заслуженные врачи, приехавшие на конференцию, — все, купившие билеты на этот сеанс для вольнонаемных, кричали, стучали ногами.

Механик не спеша «провернул» первую часть и дал в зал свет. Тогда все поняли, в чем дело. В кино явился заместитель начальника больни-

цы по хозяйственной части Долматов: он опоздал на первую часть, и фильм показывался сначала.

Началась вторая часть, и все пошло как следует. Колымские нравы были известны всем: фронтовикам — меньше, врачам — больше.

Когда билетов продавали мало, сеанс был общим для всех: лучшие места для вольнонаемных — последние ряды, а первые ряды — для заключенных; женщины слева, мужчины справа от прохода. Проход делил зрительный зал крестообразно на четыре части, и это было очень удобно в рассуждении лагерных правил.

Хромая девушка, заметная и на киносеансах, попала в больницу, в женское отделение. Палат маленьких тогда еще не было построено; все отделение было размещено в одной воинской спальне — коек пятьдесят, не меньше. Маруся Крюкова попала на лечение к хирургу.

— А что у нее?

— Остеомиелит, — сказал хирург Валентин Николаевич.

— Пропадет нога?

— Ну, почему пропадет...

Я ходил делать перевязку Крюковой и о ее жизни уже рассказал. Через неделю температура спала, а еще через неделю Марусю выписали.

— Я подарю вам галстук — вам и Валентину Николаевичу. Это будут хорошие галстуки.

— Хорошо, хорошо, Маруся.

Полоска шелка среди десятков метров, сотен метров ткани, расшитой, разукрашенной за несколько смен в «доме дирекции».

— А контроль?

Я попрошу у нашей Анны Андреевны. Так, кажется, звали надсмотрщицу.

— Анна Андреевна разрешила. Вышиваю, вышиваю, вышиваю... Не знаю, как и объяснить вам. Вошел Долматов и отобрал.

— Как отобрал?

— Ну, я вышивала. Валентину Николаевичу уже был готов. А ваш — оставалось немного. Серый. Дверь открылась. «Галстуки вышиваете?» Обыскал тумбочку. Сложил галстук в карман и ушел.

— Теперь вас отправят.

— Меня не отправят. Работы еще много. Но мне так хотелось вам галстук...

— Пустяки, Маруся, я бы все равно не носил. Разве продать?

На концерт лагерной самодеятельности Долматов опоздал, как в кино. Грузный, брюхатый не по возрасту, он шел к первой пустой скамейке.

Крюкова поднялась с места и махала руками. Я понял, что это знаки мне.

— Галстук, галстук!

Я успел рассмотреть галстук начальника. Галстук Долматова был серый, узорный, высокого качества.

— Ваш галстук! — кричала Маруся. — Ваш или Валентина Николаевича!

Долматов сел на свою скамейку, занавес распахнулся по-старинному, и концерт самодеятельности начался.

1960

ТАЙГА ЗОЛОТАЯ

«Малая зона» — это пересылка. «Большая зона» — лагерь горного управления — бесконечные приземистые бараки, арестантские улицы, тройная ограда из колючей проволоки, караульные вышки по-зимнему, похожие на скворечни. В малой зоне еще больше колючей проволоки, еще больше вышек, замков и щеколд — ведь там живут проезжие, транзитные, от которых можно ждать всякой беды.

Архитектура малой зоны идеальна. Это один квадратный барак, огромный, где нары в четыре этажа и где «юридических» мест не менее пятисот. Значит, если нужно, можно вместить тысячи. Но сейчас зима, этапов мало, и зона изнутри кажется почти пустой. Барак еще не успел высохнуть внутри — белый пар, на стенах лед. При входе — огромная лампа электрическая в тысячу свечей. Лампа то желтеет, то загорается ослепительным белым светом — подача энергии неровная.

Днем зона спит. По ночам раскрываются двери, под лампой появляются люди со списками в руках и хриплыми, простуженными голосами выкрикивают фамилии. Те, кого вызвали, застегивают буплаты на все пуговицы, шагают через порог и исчезают навсегда. За порогом ждет конвой, где-то пыхтят моторы грузовиков, заключенных везут на прииски, в совхозы, на дорожные участки...

Я тоже лежу здесь — недалеко от двери на нижних нарах. Внизу холодно, но наверх, где теплее, я подниматься не решаюсь, меня оттуда сбросят вниз: там место для тех, кто посильней, и прежде всего для воров. Да мне и не взобраться наверх по ступенькам, прибитым гвоздями к столбу. Внизу мне лучше. Если будет спор за место на нижних нарах — я уползу под нары, вниз.

Я не могу ни кусаться, ни драться, хотя приемы тюремной драки мною освоены хорошо. Ограниченность пространства — тюремная камера, арестантский вагон, барачная теснота — продиктовала приемы захвата, укуса, перелома. Но сейчас сил нет и для этого. Я могу только рычать, материться. Я сражаюсь за каждый день, за каждый час отдыха. Каждый клочок тела подсказывает мне мое поведение.

Меня вызывают в первую же ночь, но я не подпоясываюсь, хотя веревочка у меня есть, не застегиваюсь наглухо.

Дверь закрывается за мной, и я стою в тамбуре.

Бригада — двадцать человек, обычная норма для одной автомашины, стоит у следующей двери, из которой выбивается густой морозный пар.

Нарядчик и старший конвоир считают и осматривают людей. А справа стоит еще один человек — в стеганке, в ватных брюках, в ушанке, помахивает меховыми рукавицами-крагами. Его-то мне и нужно. Меня возили столько раз, что закон я знал в совершенстве.

Человек с крагами — представитель, который принимает людей, который волен не принять.

Нарядчик выкрикивает мою фамилию во весь голос — точно так же, как кричал в огромном бараке. Я смотрю только на человека с крагами.

— Не берите меня, гражданин начальник. Я больной и работать на приiske не буду. Мне надо в больницу.

Представитель колеблется — на приiske, дома, ему говорили, чтобы он отобрал только работяг, других прииску не надо. Потому-то он и приехал сам.

Представитель разглядывает меня. Мой рваный бушлат, засаленная гимнастерка без пуговиц, открывающая грязное тело в расчесах от вшей, обрывки тряпок, которыми перевязаны пальцы рук, веревочная обувь на ногах, веревочная в шестидесятиградусный мороз, воспаленные голодные глаза, непомерная костлявость — он хорошо знает, что все это значит.

Представитель берет красный карандаш и твердой рукой вычеркивает мою фамилию.

— Иди, сволочь, — говорит мне нарядчик зоны.

И дверь распахивается, и я снова внутри малой зоны. Место мое уже занято, но я оттаскиваю того, кто лег на мое место, в сторону. Тот недоброливо рычит, но вскоре успокаивается.

А я засыпаю похожим на забытье сном и просыпаюсь от первого шороха. Я выучился просыпаться, как зверь, как дикарь, без полусна.

Я открываю глаза. С верхних нар свисает нога в изношенной до предела, но все же туфле, а не казенном ботинке. Грязный блатной мальчик возникает передо мной и говорит куда-то вверх томным голосом педераста.

— Скажи Валюше, — говорит он кому-то невидимому на верхних нарах, — что артистов привели...

Пауза. Потом хриплый голос сверху:

— Валюша спрашивает: кто они?

— Артисты из культбригады. Фокусник и два певца. Один певец харбинский.

Туфля зашевелилась и исчезла... Голос сверху сказал:

— Веди их.

Я продвинулся к краю нар. Три человека стояли под лампой: двое в бушлатах, один в вольной «москвичке». На лицах всех изображалось благоговение.

— Кто тут харбинский? — сказал голос.

— Это я, — почтительно ответил человек в бекеше.

— Валюша велит спеть что-нибудь.

— На русском? Французском? Итальянском? Английском? — спрашивал, вытягивая шею вверх, певец.

— Валюша сказал: на русском.

— А конвой? Можно негромко?

— Ничто... ничто... Вовсю валяй, как в Харбине.

Певец отошел и спел куплеты Торедора. Холодный пар вылетал с каждым выдохом. Тяжелое ворчание, и голос сверху:

— Валюша сказал: какую-нибудь песню.

Побледневший певец пел:

Шуми, золотая, шуми, золотая,
Моя золотая тайга,
Ой, вейтесь, дороги, одна и другая,
В раздольные наши края...

Голос сверху:

— Валюша сказал: хорошо.

Певец вздохнул облегченно. Мокрый от волнения лоб дымился и казался нимбом вокруг головы певца. Ладонью певец вытер пот, и нимб исчез.

— Ну, а теперь, — сказал голос, — снимай-ка свою «москвичку». Вот тебе сменка!

Сверху сбросили рваную телогрейку.

Певец молча снял «москвичку» и надел телогрейку.

— Иди теперь, — сказал голос сверху. — Валюша спать хочет.

Харбинский певец и его товарищи растаяли в барачном тумане.

Я подвинулся глубже, скорчился, засунул руки в рукава телогрейки и заснул.

И, казалось, тотчас же проснулся от громкого, выразительного шепота:

— В тридцать седьмом в Улан-Баторе идем мы по улице с товарищем. Время обедать. На углу — китайская столовая. Заходим. Смотрю меню: китайские пельмени. Я сибиряк, знаю сибирские, уральские пельмени. А тут вдруг китайские. Решили взять по сотне. Хозяин-китаец смеется: «Многа будет», — и рот растягивает до ушей. «Ну, по десятку?» Хохочет: «Многа будет». «Ну, по паре!» Пожал плечами, ушел на кухню, тащит — каждый пельмень с ладонь, все залито жиром горячим. Ну, мы по полпельменя на двоих съели и ушли..

— А вот я...

Усилием воли заставляю себя не слушать и засыпаю снова. Просыпаюсь от запаха дыма. Где-то вверху, в воровском царстве, курят. Кто-то слез с махорочной сигаркой вниз, и острый сладкий запах дыма разбудил всех внизу.

И снова шепот:

— В райкоме у нас, в Северном, этих окурков, боже мой, боже мой! Тетя Поля, уборщица, все ругалась, подметать не успевала. А я и не понимал тогда, что такое табачный окурочек, чинарик, бычок.

Снова я засыпаю.

Кто-то дергает меня за ногу. Это нарядчик. Воспаленные глаза его злы. Он ставит меня в полосу желтого света у двери.

— Ну, — говорит он, — на прииск ты не хочешь ехать.

Я молчу.

— А в совхоз? В теплый совхоз, черт бы тебя побрал, сам бы поехал.

— Нет.

— А на дорожную? Метлы вязать. Метлы вязать, подумай.

— Знаю, — говорю я, — сегодня метлы вязать, а завтра — тачку в руки.

— Чего же ты хочешь?

— В больницу! Я болен.

Нарядчик что-то записывает в тетрадь и уходит. Через три дня в малую зону приходит фельдшер и вызывает меня, ставит термометр, осматривает язвы фурункулов на спине, втирает какую-то мазь.

<1961>

ВАСЬКА ДЕНИСОВ, ПОХИТИТЕЛЬ СВИНЕЙ

Для вечерней поездки пришлось одолжить бушлат у товарища. Васькин бушлат был слишком грязен и рван, в нем нельзя было пройти по поселку и двух шагов — сразу бы сцапал любой вольняшка.

По поселку таких, как Васька, водят только с конвоем, в рядах. Ни военные, ни штатские вольные жители не любят, чтобы по улицам поселка ходили подобные Ваське в одиночку. Они не вызывают подозрения только тогда, когда несут дрова: небольшое бревнышко или, как здесь говорят, «палку дров» на плече.

Такая палка была зарыта в снегу недалеко от гаража — шестой телеграфный столб от поворота, в кювете. Это было сделано еще вчера после работы.

Сейчас знакомый шофер придержал машину, и Денисов перегнулся через борт и сполз на землю. Он сразу нашел место, где закопал бревно, — синеватый снег здесь был чуть потемнее, был примят, это было

видно в начинавшихся сумерках. Васька спрыгнул в кювет и расшвырял снег ногами. Показалось бревно, серое, крутобокое, как большая замороженная рыба. Васька вытащил бревно на дорожку, поставил его стоймя, постучал, чтобы сбить с бревна снег, и согнулся, подставляя плечо и приподнимая бревно руками. Бревно качнулось и легло на плечо. Васька зашагал в поселок, время от времени меняя плечо. Он был слаб и истощен, поэтому быстро согрелся, но тепло держалось недолго — как ни ощутителен был вес бревна, Васька не согревался. Сумерки ступились белой мглой, поселок зажег все желтые электрические огни. Васька усмехнулся, довольный своим расчетом: в белом тумане он легко доберется до цели своей незамеченным. Вот сломанная огромная листовенница, серебряный в инее пень, значит — в следующий дом.

Васька бросил бревно у крыльца, обил рукавицами снег с валенок и постучался в квартиру. Дверь приоткрылась и пропустила Ваську. Пожилая простоволосая женщина в расстегнутом нагольном полушубке вопросительно и испуганно смотрела на Ваську.

— Дровишек вам принес, — сказал Васька, с трудом раздвигая замерзшую кожу лица в складки улыбки. — Мне бы Ивана Петровича.

Но Иван Петрович сам уже выходил, приподнимая рукой занавеску.

— Это добре, — сказал он. — Где они?

— На дворе, — сказал Васька.

— Так ты подожди, мы попилим, сейчас я оденусь.

Иван Петрович долго искал рукавицы. Они вышли на крыльцо и без козел, прижимая бревно ногами, приподнимая его, распилили. Пила была неточеная, с плохим разводом.

— После зайдешь, — сказал Иван Петрович. — Направись. А теперь вот колун... И потом сложишь, только не в коридоре, а прямо в квартиру тащи.

Голова у Васьки кружилась от голода, но он переколол все дрова и перетащил в квартиру.

— Ну, все, — сказала женщина, вылезая из-под занавески. — Все.

Но Васька не уходил и топтался у двери. Иван Петрович появился снова.

— Слушай, — сказал он, — хлеба у меня сейчас нет, суп тоже весь поросятм отнесли, нечего мне тебе сейчас дать. Зайдешь на той неделе...

Васька молчал и не уходил.

Иван Петрович порылся в бумажнике.

— Вот тебе три рубля. Только для тебя за такие дрова, а табачку — сам понимаешь! — табачок ныне дорог.

Васька спрятал мятую бумажку за пазуху и вышел. За три рубля он не купил бы и щепотку махорки.

Он все еще стоял на крыльце. Его тошнило от голода. Поросятм съели Васькин хлеб и суп. Васька вынул зеленую бумажку, разорвал ее намелко. Ключки бумаги, подхваченные ветром, долго катились по отпо-

лированному, блестящему насту. И когда последние обрывки скрылись в белом тумане, Васька сошел с крыльца. Чуть покачиваясь от слабости, он шел, но не домой, а в глубь поселка, все шел и шел — к одноэтажным, двухэтажным, трехэтажным деревянным дворцам...

Он вошел на первое же крыльцо и дернул ручку двери. Дверь скрипнула и тяжело отошла. Васька вошел в темный коридор, слабо освещенный тусклой электрической лампочкой. Он шел мимо квартирных дверей. В конце коридора был чулан, и Васька, навалившись на дверь, открыл ее и переступил через порог. В чулане стояли мешки с луком, может быть, с солью. Васька разорвал один из мешков — крупа. В досаде он, снова разгорячась, налег плечом и отвалил мешок в сторону — под мешками лежали мерзлые свиные туши. Васька закричал от злости — не хватило силы оторвать от туши хоть кусок. Но дальше под мешками лежали мороженые поросята, и Васька уже больше ничего не видел. Он оторвал примерзшего поросенка и, держа его в руках, как куклу, как ребенка, пошел к выходу. Но уже из комнат выходили люди, белый пар наполнял коридор. Кто-то крикнул: «Стой!» — и кинулся в ноги Ваське. Васька подпрыгнул, крепко держа поросенка в руках, и выбежал на улицу. За ним помчались обитатели дома. Кто-то стрелял вслеп, кто-то ревел по-звериному, но Васька мчался, ничего не видя. И через несколько минут он увидел, что ноги сами его несут в единственный казенный дом, который он знал в поселке, — в управление витаминных командировок, на одной из которых и работал Васька сборщиком стланика.

Погоня была близка. Васька взбежал на крыльцо, оттолкнул дежурного и помчался по коридору. Толпа преследователей грохотала сзади. Васька кинулся в кабинет заведующего культурной работой и выскочил в другую дверь — в красный уголок. Дальше бежать было некуда. Васька сейчас только увидел, что потерял шапку. Мерзлый поросенок все еще был в его руках. Васька положил поросенка на пол, своротил массивные скамейки и заложил ими дверь. Кафедру-трибуну он подтащил туда же. Кто-то потряс дверь, и наступила тишина.

Тогда Васька сел на пол, взял в обе руки поросенка, сырого, мороженого поросенка, и грыз, грыз...

Когда вызван был отряд стрелков, и двери были открыты, и баррикада разобрана, Васька успел съесть половину поросенка...

1958

СЕРАФИМ

Письмо лежало на черном закопченном столе как льдинка. Дверцы железной печки-бочки были раскрыты, каменный уголь рдел, как брусничное варенье в консервной банке, и льдинка должна была растаять, истончиться, исчезнуть. Но льдинка не таяла, и Серафим испугался,

поняв, что льдинка — письмо, и письмо именно ему, Серафиму. Серафим боялся писем, особенно бесплатных, с казенными пгтампами. Он вырос в деревне, где до сих пор полученная или отправленная, «отбитая», телеграмма говорит о событии трагическом: похоронах, смерти, тяжелой болезни...

Письмо лежало вниз лицом, адресной стороной, на Серафимовом столе; разматывая шарф и расстегивая задуবেвшую от мороза овчинную шубу, Серафим глядел на конверт, не открывая глаз.

Вот он уехал за двенадцать тысяч верст, за высокие горы, за синие моря, желая все забыть и все простить, а прошлое не хочет оставить его в покое. Из-за гор пришло письмо, письмо с того, не забытого еще света. Письмо везли на поезде, на самолете, на пароходе, на автомобиле, на оленях до того поселка, где спрятался Серафим.

И вот письмо здесь, в маленькой химической лаборатории, где Серафим работает лаборантом.

Бревенчатые стены, потолок, шкафы лаборатории почернели не от времени, а от круглосуточной топки печей, и внутренность домика кажется какой-то древней избой. Квадратные окна лаборатории похожи на слюдяные окошки петровских времен. На шахте берегут стекло и переплеты окон делают в мелкую решетку: чтоб пошел в дело каждый обломок стекла, а при надобности и битая бутылка. Желтая электролампа под колпаком свешивалась с деревянной балки, как самоубийца. Свет ее то тускнел, то разгорался — вместо движков на электростанции работали тракторы.

Серафим разделся и сел к печке, все еще не трогая конверта. Он был один в лаборатории.

Год назад, когда случилось то, что называют «семейной размолвкой», он не хотел уступать. Он уехал на Дальний Север не потому, что был романтиком или человеком долга. Длинный рубль тоже его не интересовал. Но Серафим считал, в соответствии с суждениями тысячи философов и десятка знакомых обывателей, что разлука уносит любовь, что версты и годы справятся с любым горем.

Год прошел, и в сердце Серафима все оставалось по-прежнему, и он втайне дивился прочности своего чувства. Не потому ли, что он не говорил больше с женщинами. Их просто не было. Были жены высоких начальников — общественного класса, необычайно далекого от лаборанта Серафима. Каждая раскормленная дама считала себя красавицей, и такие дамы жили в поселках, где было больше развлечений и ценители их прелестей были побогаче. Притом в поселках было много военных: даме не грозило и внезапное групповое изнасилование шоферней или блатарями-заключенными — такое то и дело случалось в дороге или на маленьких участках.

Поэтому геологоразведчики, лагерные начальники держали своих жен в крупных поселках, местах, где маникюрши создавали себе целые состояния.

Но была и другая сторона дела — «телесная тоска» оказалась вовсе не такой страшной штукой, как думал Серафим в молодости. Просто надо было меньше об этом думать.

На шахте работали заключенные, и Серафим много раз летом смотрел с крыльца на серые ряды арестантов, вползающих в главную штольню и выползающих из нее после смены.

В лаборатории работали два инженера из заключенных, их приводил и уводил конвой, и Серафим боялся с ними заговорить. Они спрашивали только деловое — результат анализа или пробы, — он им отвечал, отводя глаза в сторону. Серафима напугали на этот счет еще в Москве при найме на Дальний Север, сказали, что там опасные государственные преступники, и Серафим боялся принести даже кусок сахара или белого хлеба своим товарищам по работе. За ним, впрочем, следил заведующий лабораторией Пресняков, комсомолец, растерявшийся от собственного необычайно высокого жалования и высокой должности сразу после окончания института. Главной своей обязанностью он считал политконтроль за своими сотрудниками (а может быть, только это от него и требовали), и заключенными, и вольнонаемными.

Серафим был постарше своего заведующего, но послушно выполнял все, что тот приказывал в смысле пресловутой бдительности и осмотрительности.

За год он и десятком слов на посторонние темы не обменялся с заключенными инженерами.

С дневальным же и ночным сторожем Серафим и вовсе ничего не говорил.

Через каждые шесть месяцев оклад договорника-северянина увеличивался на десять процентов. После получения второй надбавки Серафим выпросил себе поездку в соседний поселок, всего за сто километров, — что-нибудь купить, сходить в кино, пообедать в настоящей столовой, «посмотреть на баб», побриться в парикмахерской.

Серафим взобрался в кузов грузовика, поднял воротник, закутался поплотнее, и машина помчалась.

Через часа полтора машина остановилась у какого-то домика. Серафим слез и сощурился от весеннего резкого света.

Два человека с винтовками стояли перед Серафимом.

— Документы!

Серафим полез в карман пиджака и похолодел — паспорт он забыл дома. И, как назло, никакой бумажки, удостоверяющей его личность. Ничего, кроме анализа воздуха с шахты. Серафиму велели идти в избу.

Машина уехала.

Небритый, коротко стриженный Серафим не внушал доверия начальнику.

— Откуда бежал?

— Ниоткуда...

Внезапная затрещина свалила Серафима с ног.

— Отвечать, как полагается!

— Да я буду жаловаться! — завопил Серафим.

— Ах, ты будешь жаловаться? Эй, Семен!

Семен прицелился и гимнастическим жестом привычно и ловко ударил ногой в солнечное сплетение Серафиму.

Серафим охнул и потерял сознание.

Смутно он помнил, как его куда-то волокли прямо по дороге, он потерял шапку. Зазвенел замок, скрипнула дверь, и солдаты вбросили Серафима в какой-то вонючий, но теплый сарай.

Через несколько часов Серафим отдышался и понял, что он находится в изоляторе, куда собирали всех беглецов и штрафников — заключенных поселка.

— Табак есть? — спросил кто-то из темноты.

— Нет. Я некурящий, — виновато сказал Серафим.

— Ну и дурак. Есть у него что-нибудь?

— Нет, ничего. После этих бакланов разве что останется?

Серафим с величайшим усилием сообразил, что речь идет о нем, а «бакланами», очевидно, называют конвоиров за их жадность и всеядность.

— У меня были деньги, — сказал Серафим.

— Вот именно «были».

Серафим обрадовался и замолчал. Он взял с собой в поездку две тысячи рублей, и, слава богу, эти деньги изъяты и хранятся у конвоя. Все скоро выяснится, и Серафима освободят и вернут ему деньги. Серафим повеселел.

«Надо будет дать сотню конвоирам, — подумал он, — за хранение». Впрочем, за что давать? За то, что они его избивали?

В тесной избушке без всяких окон, где единственный доступ воздуха был через входную дверь и обросшие льдом щели в стенах, лежали прямо на земле человек двадцать.

Серафиму захотелось есть, и он спросил соседа, когда будет ужин.

— Да ты что, на самом деле вольный, что ли? Завтра поешь. Мы ведь на казенном положении: кружка воды и пайка — трехсотка на сутки. И семь килограммов дров.

Серафима никуда не вызывали, и он прожил здесь целых пять дней. Первый день он кричал, стучал в дверь, но после того, как дежурный конвойный, изловчившись, хватил его прикладом в лоб, перестал жаловаться. Вместо потерянной папки Серафиму дали какой-то комок материи, который он с трудом напялил на голову.

На шестой день его вызвали в контору, где за столом сидел тот же начальник, который его принимал, а у стены стоял заведующий лабораторией, крайне недовольный и прогулом Серафима, и потерей времени на поездку для удостоверения личности лаборанта.

Пресняков слегка ахнул, увидя Серафима: под правым глазом был синий кровоподтек, на голове — рваная грязная матерчатая шапка без завязок. Серафим был в тесной изорванной телогрейке без пуговиц, заросший бородой, грязный — шубу пришлось оставить в карцере, — с красными, воспаленными глазами. Он произвел сильное впечатление.

— Ну, — сказал Пресняков, — этот самый. Можно нам идти? — И заведующий лабораторией потащил Серафима к выходу.

— А деньги? — замычал Серафим, упираясь и отталкивая Преснякова.

— Какие деньги? — металлом зазвенел голос начальника.

— Две тысячи рублей. Я брал с собой.

— Вот видите, — хохотнул начальник и толкнул Преснякова в бок. — Я же вам рассказывал. В пьяном виде, без шапки...

Серафим шагнул через порог и молчал до самого дома.

После этого случая Серафим стал думать о самоубийстве. Он даже спросил заключенного инженера, почему тот, арестант, не кончает самоубийством.

Инженер был поражен — Серафим за год не сказал с ним двух слов. Он помолчал, стараясь понять Серафима.

— Как же вы? Как же вы живете? — горячо шептал Серафим.

— Да, жизнь арестанта — сплошная цепь унижений с той минуты, когда он откроет глаза и уши и до начала благодетельного сна. Да, все это верно, но ко всему привыкаешь. И тут бывают дни лучше и дни хуже, дни безнадежности сменяются днями надежды. Человек живет не потому, что он во что-то верит, на что-то надеется. Инстинкт жизни хранит его, как он хранит любое животное. Да и любое дерево, и любой камень могли бы повторить то же самое. Берегитесь, когда придумается бороться за жизнь в самом себе, когда нервы подтянуты, воспалены, берегитесь обнажить свое сердце, свой ум с какой-нибудь неожиданной стороны. Сосредоточив остатки силы против чего-либо, берегитесь удара сзади. На новую, непривычную борьбу сил может не хватить. Всякое самоубийство обязательный результат двойного воздействия, двух, по крайней мере, причин. Вы поняли меня?

Серафим понимал.

Сейчас он сидел в закопченной лаборатории и вспоминал свою поездку почему-то с чувством стыда и с чувством тяжелой ответственности, которая легла на него навсегда. Жить он не хотел.

Письмо все еще лежало на лабораторном черном столе, и страшно было взять его в руки.

Серафим представил себе его строки, почерк своей жены, почерк с наклоном влево: по такому почерку разгадывался ее возраст — в двадцатых годах в школах не учили писать наклонно вправо, писал кто как хотел.

Серафим представил себе строки письма, будто прочел его, не разрывая конверта. Письмо могло начинаться: «Дорогой мой», или «Дорогой Сима», или «Серафим». Последнего он боялся.

А что, если он возьмет и, не читая, разорвет конверт в мелкие клочья и бросит их в рубиновый огонь печи? Все наваждение кончится, и ему снова будет легче дышать — хотя бы до следующего письма. Но не такой же он трус, в конце концов! Он вовсе не трус, это инженер трус, и он ему докажет. Он всем докажет.

И Серафим взял письмо и вывернул его адресом кверху. Его догадка была верной — письмо было из Москвы, от жены. Он яростно разорвал конверт и, подойдя к лампочке, стоя прочитал письмо. Жена писала ему о разводе.

Серафим бросил письмо в печь, и оно вспыхнуло белым пламенем с голубым ободком и исчезло.

Серафим стал действовать уверенно и неспешно. Он достал из кармана ключи и отпер шкаф в комнате Преснякова. Из стеклянной банки он высыпал в мензурку щепотку серого порошка, черпнул кружкой воду из ведра, долил в мензурку, размешал и выпил.

Жжение в горле, легкий позыв на рвоту — и все.

Он просидел, глядя на часы-ходики, ни о чем не вспоминая, целых тридцать минут. Никакого действия, кроме боли в горле. Тогда Серафим заторопился. Он открыл ящик стола и вытащил свой перочинный нож. Потом Серафим разорвал вену на левой руке: темная кровь потекла на пол. Серафим ощутил радостное чувство слабости. Но кровь текла все меньше, все тише.

Серафим понял, что кровь не пойдет, что он останется жив, что самозащита собственного тела сильнее желания умереть. Сейчас же он вспомнил, что надо сделать. Он кое-как, в один рукав, надел на себя полушубок — без полушубка на улице было слишком холодно — и без шапки, подняв воротник, побежал к речке, которая текла в ста шагах от лаборатории. Это была горная речка с глубокими узкими промоинами, дымящимися, как кипяток, в темном морозном воздухе.

Серафим вспомнил, как в прошлом году поздней осенью выпал первый снег и тонким ледком затянуло реку. И отставшая от перелета утка, обессиленная в борьбе со снегом, опустилась на молодой лед. Серафим вспомнил, как выбежал на лед человек, какой-то заключенный и, смешно растопырив руки, пытался поймать утку. Утка отбегала по льду до промоины и ныряла под лед, выскакивая в следующей полынье. Че-

ловек бежал, проклиная птицу; он измучился не меньше утки и продолжал бегать за ней от промоины к промоине. Два раза он проваливался на льду и, грязно ругаясь, долго выползал на льдину.

Кругом стояло много людей, но ни один не помог ни утке, ни охотнику. Это была его добыча, его находка, а за помощь надо было платить, делиться... Измученный человек полз по льду, проклиная все на свете. Дело кончилось тем, что утка нырнула и не вынырнула — наверное, утонула от усталости.

Серафим вспомнил, как он тогда пытался представить себе смерть утки, как она бьется в воде головой об лед и как сквозь лед видит голубое небо. Сейчас Серафим бежал к этому самому месту реки.

Он прыгнул прямо в ледяную дымящуюся воду, обломив опущенную снегом кромку синего льда. Воды было по пояс, но течение было сильным, и Серафима сбило с ног. Он бросил полушубок и соединил руки, заставляя себя нырнуть под лед.

Но уже кругом кричали и бежали люди, тащили доски и прилаживали поперек промоины. Кто-то успел схватить Серафима за волосы.

Его понесли прямо в больницу. Раздели, согрели, пытались влить ему в глотку теплый сладкий чай. Серафим молчал и мотал головой.

Больничным врачом подошел к нему, держа шприц с раствором глюкозы, но увидел рваную вену и поднял глаза на Серафима.

Серафим улыбнулся. Глюкозу ввели в правую руку. Видавший виды старик врач разжал шпательом зубы Серафима, посмотрел горло и вызвал хирурга.

Операция была сделана немедленно, но слишком поздно. Стенки желудка и пищевода были съедены кислотой — первоначальный расчет Серафима был совершенно верен.

1959

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

Две белки небесного цвета, черномордые, чернохвостые, увлеченно вглядывались в то, что творилось за серебряными лиственницами. Я подошел к дереву, на ветвях которого они сидели, почти вплотную, и только тогда белки заметили меня. Белгчыи когти зашуршали по коре дерева, синие тела зверьков метнулись вверх и где-то высоко-высоко затихли. Крошки коры перестали сыпаться на снег. Я увидел то, что разглядывали белки.

На лесной поляне молился человек. Матерчатая шапка-ушанка комочком лежала у его ног, иней успел уже выбелить стриженую голову. На лице его было выражение удивительное — то самое, что бывает на лицах людей, вспоминающих детство или что-либо равноценно доро-

гое. Человек крестился размашисто и быстро: тремя сложенными пальцами правой руки он будто тянул вниз свою собственную голову. Я не сразу узнал его — так много нового было в чертах его лица. Это был заключенный Замятин, священник из одного барака со мной.

Все еще не видя меня, он выговаривал негромко и торжественно немеющими от холода губами привычные, запомненные мной с детства слова. Это были славянские формулы литургийной службы — Замятин служил обедню в серебряном лесу.

Он медленно перекрестился, выпрямился и увидел меня. Торжественность и умиленность исчезли с его лица, и привычные складки на переносице сблизили его брови. Замятин не любил насмешек. Он поднял шапку, встряхнул и надел ее.

— Вы служили литургию, — начал я.

— Нет, нет, — сказал Замятин, улыбаясь моей невежественности. — Как я могу служить обедню? У меня ведь нет ни даров, ни епитрахили. Это казенное полотенце.

И он поправил грязную вафельную тряпку, висевшую у него на шее и в самом деле напоминавшую епитрахиль. Мороз покрыл полотенце снежным хрусталем, хрусталь радужно сверкал на солнце, как распитая церковная ткань.

— Кроме того, мне стыдно — я не знаю, где восток. Солнце сейчас встает на два часа и заходит за ту же гору, из-за которой выходило. Где же восток?

— Разве это так важно — восток?

— Нет, конечно. Не уходите. Говорю же вам, что я не служу и не могу служить. Я просто повторяю, вспоминая воскресную службу. И я не знаю, воскресенье ли сегодня?

— Четверг, — сказал я. — Надзиратель утром говорил.

— Вот видите, четверг. Нет, нет, я не служу. Мне просто легче так. И меньше есть хочется, — улыбнулся Замятин.

Я знаю, что у каждого человека здесь было свое *самое последнее*, самое важное — то, что помогало жить, цепляться за жизнь, которую так настойчиво и упорно у нас отнимали. Если у Замятина этим последним была литургия Иоанна Златоуста, то моим спасительным последним были стихи — чужие любимые стихи, которые удивительным образом помнились там, где все остальное было давно забыто, выброшено, изгнано из памяти. Единственное, что еще не было подавлено усталостью, морозом, голодом и бесконечными унижениями.

Солнце зашло. Стремительная мгла зимнего раннего вечера уже заполнила пространство между деревьями. Я побрел в барак, где мы жили, — низенькую продолговатую избушку с маленькими окнами, похожую на крошечную конюшню. Ухватясь обеими руками за тяжелую,

обледенелую дверь, я услышал порох в соседней избушке. Там была «инструменталка» — кладовая, где хранился инструмент: пилы, лопаты, топоры, ломы, кайла горнорабочих.

По выходным дням инструменталка была на замке, но сейчас замка не было. Я шагнул через порог инструменталки, и тяжелая дверь чуть не прихлопнула меня. Щелей в кладовой было столько, что глаза быстро привыкли к полумраку.

Два блатаря щекотали большого щенка-овчарку месяцев четырех. Щенок лежал на спине, повизгивал и махал всеми четырьмя лапами. Блатарь постарше придерживал щенка за ошейник. Мой приход не смутил блатарей — мы были из одной бригады.

— Эй, ты, на улице кто есть?

— Никого нету, — ответил я.

— Ну, давай, — сказал блатарь постарше.

— Подожди, дай я поиграюсь еще маленько, — отвечал молодой. — Ишь как бьется. — Он оцупал теплый щенячий бок близ сердца и пощекотал щенка.

Щенок доверчиво взвизгнул и лизнул человечесю руку.

— А, ты лизаться... Так не будешь лизаться. Сения...

Семен, левой рукой удерживая щенка за ошейник, правой вытащил из-за спины топор и быстрым коротким взмахом опустил его на голову собаки. Щенок рванулся, кровь брызнула на ледяной пол инструменталки.

— Держи его крепче! — закричал Семен, поднимая топор вторично.

— Чего его держать, не петух, — сказал молодой.

— Шкуру-то сними, пока теплая, — учил Семен. — И зарой ее в снег.

Вечером запах мясного супа не давал никому спать в бараке, пока все не было съедено блатарями. Но блатарей у нас было слишком мало в бараке, чтоб съесть целого щенка. В котелке еще оставалось мясо.

Семен пальцем поманил меня.

— Забери.

— Не хочу, — сказал я.

— Ну, тогда... — Семен обвел нары глазами. — Тогда попу отдадим. Э, батя, вот прими от нас баранинки. Только котелок вымой...

Замятин явился из темноты на желтый свет коптилки-бензинки, взял котелок и исчез. Через пять минут он вернулся с вымытым котелком.

— Уже? — спросил Семен с интересом. — Быстро ты глотаешь... Как чайка. Это, батя, не баранинка, а псина. Собачка тут к тебе ходила — Норд называется.

Замятин молча глядел на Семена. Потом повернулся и вышел. Вслед за ним вышел и я. Замятин стоял за дверьми на снегу. Его рвало. Лицо его в лунном свете казалось свинцовым. Липкая клейкая слюна свиса-

ла с его синих губ. Замятин вытерся рукавом и сердито посмотрел на меня.

— Вот мерзавцы, — сказал я.

— Да, конечно, — сказал Замятин. — Но мясо было вкусное. Не хуже баранины.

1959

ДОМИНО

Санитары свели меня с площадки десятичных весов. Их могучие холодные руки не давали мне опуститься на пол.

— Сколько? — крикнул врач, со стуком макая перо в чернильницу-непроливайку.

— Сорок восемь.

Меня уложили на носилки. Мой рост — сто восемьдесят сантиметров, мой нормальный вес — восемьдесят килограммов. Вес костей — сорок два процента общего веса — тридцать два килограмма. В этот ледяной вечер у меня осталось шестнадцать килограммов, ровно пуд всего: кожи, мяса, внутренностей и мозга. Я не мог бы высчитать все это тогда, но я смутно понимал, что все это делает врач, глядящий на меня исподлобья.

Врач отпер замок стола, выдвинул ящик, бережно достал термометр, потом наклонился надо мной и осторожно заложил градусник в мою левую подмышечную ямку. Тотчас же один из санитаров прижал мою левую руку к груди, а второй санитар обхватил обеими руками запястье моей правой руки. Эти заученные, отработанные движения стали мне ясны позднее — во всей больнице на сотню коек был один термометр. Стекляшка изменила свою ценность, свой масштаб — ее берегли, как драгоценность. Только тяжелым и вновь поступающим больным разрешалось измерять температуру этим инструментом.

Температура выздоравливающих записывалась по пульсу, и только в случаях сомнения отпирался ящик стола. Часы-ходики отщелкали десять минут, врач осторожно вынул термометр, руки санитаров рожались.

— Тридцать четыре и три, — сказал врач. — Ты можешь отвечать?

Я показал глазами — «могу». Я берег силы. Слова выговаривались медленно и трудно — это было вроде перевода с иностранного языка. Я все забыл. Я отвык вспоминать. Запись истории болезни кончилась, и санитары легко подняли носилки, на которых я лежал навзничь.

— В шестую, — сказал врач. — Поближе к печке.

Меня положили на топчан у печки. Матрасы были набиты ветками стланика, хвоя осыпалась, высохла, голые ветки угрожающе горбились под грязной полосатой тканью. Сенная труха сыпалась из туго набитой грязной подушки. Реденькое, выношенное суконное одеяло с наши-

тymi серыми буквами «ноги» укрыло меня от всего мира. Похожие на бечевку мускулы рук и ног ныли, отмороженные пальцы зудели. Но усталость была сильнее боли. Я свернулся в клубок, охватил руками ноги, грязными голенищами, покрытыми крупнозернистой, как бы крокодиловой кожей, уперся в подбородок и заснул.

Я проснулся через много часов. Мои завтраки, обеды, ужины стояли возле койки на полу. Я протянул руку, ухватил ближайшую жестяную мисочку и стал есть все подряд, время от времени откусывая крошечные кусочки от пайки хлеба, лежавшей тут же. Больные с соседних топчанов смотрели, как я глотаю пищу. Они меня не спрашивали, кто я и откуда: моя крокодиловая кожа говорила сама за себя. Они бы и не смотрели на меня, но — я это знал по себе — от зрелища человека вкушающего нельзя отвести глаз.

Я проглотил поставленную пищу. Тепло, восхитительная тяжесть в желудке и снова сон — недолгий, ибо за мной пришел санитар. Я накинул на плечи единственный «расхожий» халат палаты, грязный, прожженный окурками, отяжелевший от впитавшегося пота многих сотен людей, сунул ступни в огромные шлепанцы и, медленно передвигая ноги, чтобы не свалилась обувь, побрел за санитаром в процедурную.

Тот же молодой врач стоял у окна и смотрел на улицу сквозь закуржавевшее, мохнатое от наросшего льда стекло. С угла подоконника свешивалась тряпочка, с нее капала вода, капая за каплей в подставленную жестяную обеденную миску. Железная печка гудела. Я остановился, держась обеими руками за санитаря.

— Продолжим, — сказал врач.

— Холодно, — ответил я негромко. Съеденная только что пища уже перестала греть меня.

— Садитесь к печке. Где вы работали на воле?

Я раздвинул губы, подвигал челюстями — должна была получиться улыбка. Врач это понял и улыбнулся ответно.

— Зовут меня Андрей Михайлович, — сказал он. — Лечиться вам нечего.

У меня засосало под ложечкой.

— Да, — повторил врач громким голосом. — Вам нечего лечиться. Вас надо кормить и мыть. Вам надо лежать, лежать и есть. Правда, матрасы наши — не перина. Ну, вы еще ничего — ворочайтесь побольше, и пролежней не будет. Полежите месяца два. А там и весна.

Врач усмехнулся. Я чувствовал радость, конечно: еще бы! Целых два месяца! Но я не в силах был выразить радость. Я держался руками за табуретку и молчал. Врач что-то записал в истории болезни.

— Идите.

Я вернулся в палату, спал и ел. Через неделю я уже ходил нетвердыми ногами по палате, по коридору, по другим палатам. Я искал людей

жующих, глотающих, я смотрел им в рот, ибо чем больше я отдыхал, тем больше и острее мне хотелось есть.

В больнице, как и в лагере, не выдавали ложек вовсе. Мы научились обходиться без вилки и ножа еще в следственной тюрьме. Давно мы были обучены приему пищи «через борты», без ложки — ни суп, ни каша никогда не были такими густыми, чтобы понадобилась ложка. Палец, корка хлеба и язык очищали дно котелка или миски любой глубины.

Я ходил и искал людей жующих. Это была настоятельная, повелительная потребность, и чувство это было знакомо Андрею Михайловичу.

Ночью меня разбудил санитар. Палата была шумна обычным ночным больничным шумом: хрип, храп, стоны, бредовый разговор, кашель — все мешалось в своеобразную звуковую симфонию, если из таких звуков может быть составлена симфония. Но заведи меня с закрытыми глазами в такое место — я узнаю лагерную больницу.

На подоконнике лампа — жестяное блюдечко с каким-то маслом — только не рыбий жир! — и дымным фитильком, скрученным из ваты. Было, вероятно, еще не очень поздно, наша ночь начиналась с отбоя, с девяти часов вечера, и засыпали мы как-то сразу, чуть согреются ноги.

— Андрей Михайлович звали, — сказал санитар. — Вон Козлик тебя проводит.

Больной, называемый Козликом, стоял передо мной.

Я подошел к жестяному рукомоЙнику, умылся и, вернувшись в палату, вытер лицо и руки о наволочку. Огромное полотенце из старого полосатого матраса было одно на палату в тридцать человек и выдавалось только по утрам. Андрей Михайлович жил при больнице в одной из крайних маленьких палат — в такие палаты клали послеоперационных больных. Я постучал в дверь и вошел.

На столе лежали книги, сдвинутые в сторону, книги, которых так много лет я не держал в руках. Книги были чужими, недружелюбными, ненужными. Рядом с книгами стоял чайник, две жестяные кружки и полная миска какой-то каши...

— Не хотите ли сыграть в домино? — сказал Андрей Михайлович, дружелюбно разглядывая меня. — Если у вас есть время.

Я ненавижу домино. Эта игра самая глупая, самая бессмысленная, самая нудная. Даже лото интереснее, не говоря уж о картах — о любой карточной игре. Всего бы лучше в шахматы, в пашки хоть бы, я покосился на шкаф — не видно ли там шахматной доски, но доски не было. Но не могу же я обидеть Андрея Михайловича отказом. Я должен его развлечь, должен отплатить добром за добро. Я никогда в жизни не играл в домино, но убежден, что великой мудрости для овладения этим искусством не надо.

И потом — на столе стояли две кружки чая, миска с кашей. И было тепло.

— Выпьем чаю, — сказал Андрей Михайлович. — Вот сахар. Не стесняйтесь. Ешьте эту кашу и рассказывайте — о чем хотите. Впрочем, эти два дела нельзя делать одновременно.

Я съел кашу, хлеб, выпил три кружки чаю с сахаром. Сахару я не видел несколько лет. Я согрелся, и Андрей Михайлович смеялся костяшки домино.

Я знал, что начинает игру обладатель двойной шестерки — ее поставил Андрей Михайлович. Потом по очереди играющие приставляют подходящие по очкам кости. Другой науки тут не было, и я смело вошел в игру, беспрерывно потя и икая от сытости.

Мы играли на кровати Андрея Михайловича, и я с удовольствием смотрел на ослепительно белую наволочку на перьевой подушке. Это было физическое наслаждение — смотреть на чистую подушку, видеть, как другой человек мнет ее рукой.

— Наша игра, — сказал я, — лишена самого главного своего очарования — игроки в домино должны стучать с размаху о стол, выставляя костяшки. — Я отнюдь не шутил. Именно эта сторона дела представлялась мне наиболее важной в домино.

— Перейдем на стол, — любезно сказал Андрей Михайлович.

— Ну, что вы, я просто вспоминаю всю многогранность этой игры.

Партия игралась медленно — мы рассказывали друг другу наши жизни. Андрей Михайлович, врач, не работал в приисковых забоях на общих работах и видел прииск лишь отраженно — в тех людских отходах, остатках, отбросах, которые выкидывал прииск в больницу и в морг. Я тоже был людским приисковым шлаком.

— Ну, вот вы и выиграли, — сказал Андрей Михайлович. — Поздравляю вас, а в качестве приза — вот. — Он достал из тумбочки пластмассовый портсигар. — Давно не курили?

Я оторвал кусочек газеты и свернул махорочную папиросу. Лучше газетной бумаги для махорки ничего не придумать. Следы типографской краски не только не портят махорочного букета, но оттеняют его наилучшим образом. Я зажег полоску бумаги от рдеющих углей в печке и закурил, жадно втягивая тошнотворный сладковатый дым.

С табаком мы бедствовали, и надо было давно бросить курить — условия были самые подходящие, но я не бросал курить никогда. Было страшно подумать, что я могу по собственной воле лишиться этого единственного великого арестантского удовольствия.

— Спокойной ночи, — сказал Андрей Михайлович, улыбаясь. — Я уже спать собрался. Но так хотелось сыграть партию. Спасибо вам.

Я вышел из его комнаты в темный коридор — кто-то стоял у стены на моей дороге. Я узнал силуэт Козлика.

— Что ты? Чего ты тут?

— Я покурить. Покурить бы. Не дал?

Мне стало стыдно своей жадности, стыдно, что я не подумал ни о Козлике и ни о ком другом в палате, чтобы принести им окурок, корку хлеба, горсть каши.

А Козлик ждал несколько часов в темном коридоре.

Прошло еще несколько лет, кончилась война, власовцы сменили нас на золотом приiske, и я попал в малую зону, в пересыльные бараки Западного управления. Огромные бараки с многоэтажными нарами вмещали по пятьсот-шестьсот человек. Отсюда шла отправка на прииски запада.

По ночам зона не спала — шли этапы, и в «красном углу» зоны, застеленном грязными ватными одеялами блатарей, шли еженощно концерты. И какие концерты! Именитейших певцов и рассказчиков — не только из лагерных агитбригад, но и повыше. Какой-то харбинский баритон, имитирующий Лещенко и Вертинского, имитирующий самого себя Вадим Козин и многие, многие другие пели здесь для блатных без конца, выступали в лучшем своем репертуаре. Рядом со мной лежал лейтенант танковых войск Свечников, нежный розовощекий юноша, осужденный военным трибуналом за какие-то преступления по службе. Здесь он тоже был под следствием — работая на приiske, он был уличен в том, что ел мясо человеческих трупов из морга, вырубая куски человечины, «не жирной, конечно», как он совершенно спокойно объяснял.

Соседей на пересылке не выбирают, да есть, наверно, дела и похуже, чем обедать человечьим трупом.

Редко, редко в малую зону являлся фельдшер и проводил прием температурающих. На фурункулы, густо меня облепившие, фельдшер не захотел и смотреть. Сосед мой Свечников, знавший фельдшера по больничному моргу, разговаривал с ним как с хорошо знакомым. Неожиданно фельдшер назвал фамилию Андрея Михайловича.

Я умолил фельдшера передать Андрею Михайловичу записку — больница, где он работал, была в километре от малой зоны.

Планы мои изменились. Теперь до ответа Андрея Михайловича надо было задержаться в зоне.

Нарядчик уже приметил меня и приписывал к каждому уходящему с пересылки этапу. Но представители, принимающие этап, столь же неукоснительно вычеркивали меня из списков. Они подозревали недоброе, да и вид мой говорил сам за себя.

— Почему ты не хочешь ехать?

— Я болен. Мне надо в больницу.

— В больнице тебе нечего делать. Завтра будем отправлять на дорожные работы. Будешь метлы вязать?

— Не хочу на дорожные. Не хочу метлы вязать.

День проходил за днем, этап за этапом. Ни о фельдшере, ни об Андрее Михайловиче не было ни слуху ни духу.

К концу недели мне удалось попасть на медосмотр в амбулаторию метров за сто от малой зоны. Новая записка к Андрею Михайловичу была зажата у меня в кулаке. Статистик санчасти взял ее у меня и обещал передать Андрею Михайловичу на другое утро.

Во время осмотра я спросил у начальника санчасти об Андрее Михайловиче.

— Да, есть такой врач из заключенных. Вам незачем его видеть.

— Я его знаю лично.

— Мало ли кто знает его лично.

Фельдшер, который взял у меня записку в малой зоне, стоял тут же. Я негромко спросил его:

— Где записка?

— Никакой записки я в глаза не видел...

Если до послезавтрашнего дня я ничего нового об Андрее Михайловиче не узнаю — я еду... На дорожные работы, в сельхоз, на приниск, к чертовой матери...

Вечером следующего дня, уже после проверки, меня вызвали к зубному врачу. Я пошел, думая, что это какая-то ошибка, но в коридоре увидел знакомый черный полушубок Андрея Михайловича. Мы обнялись.

Еще через сутки меня вызвали — четырех больных из лагеря повели, повезли в больницу. Двое лежали, обнявшись, на санях-розвальнях, двое шли за санями. Андрей Михайлович не успел меня предупредить о диагнозе — я не знал, чем я болен. Мои болезни — дистрофия, пеллагра, цинга — еще не подросли до необходимости в госпитализации лагерной. Я знал, что ложусь в хирургическое отделение. Андрей Михайлович работал там, но какое хирургическое заболевание мог я предъявить — грыжи у меня не было. Остеомиелит четырех пальцев ноги после отморожения — это мучительно, но вовсе не достаточно для госпитализации. Я был уверен, что Андрей Михайлович сумеет меня предупредить, встретит где-нибудь.

Лошади подъехали к больнице, санитары втащили лежачих, а мы — я и новый товарищ мой — разделись на лавочке и стали мыться. На каждого давался таз теплой воды.

В ванную вошел пожилой врач в белом халате и, смотря поверх очков, оглядел нас обоих.

— Ты с чем? — спросил он, тронув пальцем плечо моего товарища.

Тот повернулся и выразительно показал на огромную паховую грыжу.

Я ждал того же вопроса, решив пожаловаться на боли в животе.

Но пожилой врач равнодушно взглянул на меня и вышел.

— Кто это? — спросил я.

— Николай Иванович, главный хирург здешний. Заведующий отделением.

Санитар выдал нам белье.

— Куда тебя? — Это относилось ко мне

— А черт его знает! — У меня отлегло от сердца, и я уже не боялся.

— Ну, чем ты болен в натуре, скажи?

— Живот у меня болит.

— Аппендицит, наверно, — сказал бывалый санитар. Андрея Михайловича я увидел только на другой день.

Главный хирург был им предупрежден о моей госпитализации с подострым аппендицитом. Вечером того же дня Андрей Михайлович рассказал мне свою невеселую историю.

Он заболел туберкулезом. Рентгеновские снимки и лабораторные анализы были угрожающими. Районная больница ходатайствовала о вывозе заключенного Андрея Михайловича на материк для лечения. Андрей Михайлович был уже на пароходе, когда кто-то донес начальнику санотдела Черпакову, что болезнь Андрея Михайловича — ложная, мнимая, «туфта», по-лагерному.

А может быть, и не доносил никто — майор Черпаков был достойным сыном своего века подозрений, недоверия и бдительности.

Майор разгневался, распорядился снять Андрея Михайловича с парохода и заслать его в самую глушь — далеко от того управления, где мы повстречались. И Андрей Михайлович уже сделал тысячекilометровое путешествие по морозу. Но в дальнем управлении выяснилось, что там нет ни одного врача, который мог бы накладывать искусственный пневмоторакс. Вдувания уже делали Андрею Михайловичу несколько раз, но лнхой майор объявил пневмоторакс обманом и жульничеством.

Андрею Михайловичу становилось все хуже и хуже, и он был чуть жив, пока удалось добиться у Черпакова разрешения на отправку Андрея Михайловича в Западное управление — ближайшее, где врачи умели накладывать пневмоторакс.

Теперь Андрею Михайловичу было получше, несколько вдуваний были проведены удачно, и Андрей Михайлович стал работать ординатором хирургического отделения.

После того как я немного окреп, я работал у Андрея Михайловича санитаром. По его рекомендации и настоянию я уехал учиться на курсы фельдшеров, окончил эти курсы, работал фельдшером и вернулся на материк. Андрей Михайлович и есть тот человек, которому я обязан жизнью. Сам он давно умер — туберкулез и майор Черпаков сделали свое дело.

В больнице, где мы работали вместе, мы жили дружно. Срок у нас кончался в один и тот же год, и это как бы связывало наши судьбы, сближало.

Однажды, когда вечерняя уборка закончилась, санитары сели в углу играть в домино и застучали костяшками.